

В. Подбояков

СОПКИ

в
ОЖЕ

лouis

1932

Вл. ТОБОЛЯКОВ

СОПКИ В ОГНЕ

(К 10-летию освобождения Дальнего Востока
от японо-белых войск)

„ЯПОНСКОМУ КОМАНДОВАНИЮ НИЧЕГО НЕИЗВЕСТНО“

В те годы огнем пылали сопки Даль Востока.

Север и юг когда-то заботливо прислали сюда своих гостей — здесь полосатый тигр схватывается с медведем, недавно покинувшим зимнюю берлогу после летаргического сна, виноград крепко обвивает стволы елей, привыкших видеть вокруг себя снежные ровные поляны, слышать волчий вой холодных ночных ветров, а лотос, украшающий теплые воды Индии, цветет в близком соседстве с жестким оленьим мохом — другом северных сияний.

Но люди мало замечали этот богатый зверинец, этот ботанический сад без стеклянных крыш оранжерей. Они надели защитные одежды, хотели растаять в тайге, слиться с нею, быть незаметными, как тигр — когда он пьет, то кажется склоняются к вечерней воде камышевые джунгли, как уссурийский леопард — подобно зеркалу он отражает пеструю ткань солнечных пятен, падающих сквозь лиственный свод деревьев.

Опаснее леопарда и хищных тигровых повадок были низко-рослые солдаты в плотных шинелях цвета желтых осенних листьев, а пожары деревень, всыхнувших от японских снарядов, рисовали страшные картины преждевременных полдневных закатов.

Второй уже год живут в сопках среди белокорых пихт, столетних буков, кленов и лип партизаны. И вдоль побережья Тихого океана и вдоль ведущей в этот океан полноводной дороги Амура, реки „Черного дракона“, и в Забайкалье на Шилке и Аргуне стоят их отряды, нападая и отбиваясь от японо-белых войск. Укрывши коней в широких шатрах грецкого

ореха, притаившись в подлеске из синей жимолости, колючих кустарников барбариса, густых зарослей саженной полыни, они, как приморские лианы, пересекают внезапным огнем винтовок и пулеметов путь экспедиционным войскам.

Войска во что бы то ни стало стараются настигнуть партизан. Иногда казалось, что вот уже партизаны окружены, что их заманили в хитрую, искусно скрытую ловушку — начали у околицы перестрелку, чтобы дать возможность главным силам обойти деревню с другого конца. На дороге ведь были резко заметны глубокие свежие следы ходков к естьянских телег — партизанских обозов; валялись короткие окурки папирос, цыгарок, пустые спичечные коробки, огрызки огурцов, скорлупы от яиц и даже попадались запыленные красные ленточки.

Но на самом деле выходило так, что главные силы, промтавшись полдня по топким комариным болотам, выпугивая из кустарников чернобурых кабанов, вступали уже в пустую, никем незанятую деревню, где кроме стариков, неподвижно сидевших у ярко белых мазанок под соломенными крышами, о иночных мужиков, робких бабенок, застывших у открытых дверей, да беззаботно летавших по широкой солнечной улице ребятишек в одних рубашках, — не было ни ого.

Японские солдаты с примкнутыми к винтовкам широкими штыками, в измазанных грязью шинелях с загнутыми полами, хватали мужиков и, взяв винтовки на перевес, прижимая приклады к квадратным подсумкам с боевыми патронами, вели пойманных к сидевшим в тени сфицеру с белой саблей и казачьему есаулу, стегавшему от злобы плетеной нагайкой по высоким пыльным голенищам.

— Ты староста? Где партизаны? — спрашивал есаул.

— Бурсовика где? — говорил маленький, ростом до есаульских погон, японский офицер, вытирая плагком черные маслянистые волосы и облизнув толстые губы, за которыми быстро сверкнула золотая клетка зубов.

Мужики, держа в руках шапки, мяли их, испуганно крестились, не закрывая глаза на солнце, и скороговоркой твердили:

— Никак нет, господа!.. — с усилием выговаривая это видимо мало привычное для них слово. — И не было их никогда... Вот, царица небесная, что не было...

В то же время вернувшаяся разведка, ведя на поводу трех лошадей из-под убитых солдат, сообщала, что партизаны снова успели зажечь шпалы недавно исправленного моста, взрывали другой, когда как раз по нему шел товарный поезд, подрезали на версту телеграфные столбы и такими же неуловимыми ушли куда-то в заповедные и тайные, недоступные и неизвестные топографическим картам места.

— Ерофеев! Всыпь старосте! — крикнул есаул, мотнув головой на переступавшего с ноги на ногу мужика, встал, и вынул шашку, ощупал большим пальцем ее узкое и сухое лезвие.

Японцы ловили громко кудахтавших кур, петухов, взлетающих с испуга на плетень, где сушились опрокинутые кринки. На крики же какой-нибудь осмелевшей бабенки, пыгавшейся спасти жизнь своей пеструшки, улыбались, грозя штыками:

— Наша хозяйна, тебе молчи...

Тащили большие охапки соломы и, подложив их в углах домов, жители которых порой просто уехали на поле, на рыбалку, зажигали длинные колючие желтые соломенные макароны. Дым бежал по улице, огонь охватывал крышу. Бабы, не смея плакать и растаскивать добро из избы, украдкой вытирали подолами слезы, и высокий лес пламени долго смотрел в спину входившего отряда.

Японский граф Окума сказал как-то: „Всякое место, над которым развевается японский флаг, может рассматриваться как Япония“.

Японские интервенты — эти творцы могил — смотрели на Дальвосток, как на завоеванный край, и беззастенчиво шарили в карманах этой богатой страны.

Но чем сильнее становился произвол, тем больше и больше росло возмущение населения Дальвостока, тем теснее и крепче ковалась связь между ним и партизанскими отрядами. А в рядах колчаковских войск началось полное разложение, целые роты, выданные для борьбы с партизанами, переходили на сторону последних. К началу 1920 года во Владивостоке и Никольск-Уссурийске при участии скрытых там советских работников, была подготовлена почва для окончательного переворота.

Январьской ночью Никольск-Уссурийские сопки внезапно опустели — партизаны окружили город и разобрали железнодорожный путь. Генерал Смирнов, начальник горнизона

Никольск-Уссурийска, обратился за скорой помощью к японцам. Во Владивосток, Хабаровск — к генералу Розанову, к атаману Калмыкову полетели тревожные телеграммы. Атаман Калмыков ответил:

„Высылаю два броневика“.

Однако в Никольск-Уссурийске восстал гарнизон, а калмыковские броневики неожиданно направили свои орудия на японцев, часть из них была разоружена и партизаны вошли в город.

На рассвете 3 февраля из владивостокского трамвайного парка вышли первые вагоны. В них сидели не совсем обычные пассажиры — в полушубках, в козлиных папах, с карабинами в руках и ручными гранатами у поясов. Трамваи бежали по Светланке мимо магазинов Чурина, Кунста и Альберса со спущенными гофрированными ставнями, огибая бухту Золотой рог и высаживая на перекрестках вооруженных партизан. Трамваи развезли их по городу. Партизаны почти без выстрела сняли спящих часовых генерала Розанова и заняли город. Выступлению же японцев помешали тогда чехи и американцы.

В феврале революционные войска взяли Хабаровск, атаман Калмыков скрылся в Китай, захватив 36 пудов золота. Японцы приступили к эвакуации своих войск из Благовещенска, Амурская область была очищена от белых и лишь в Забайкалье — единственном месте Даль Востока — царствовал еще атаман Семенов. На станции Маккавеево стояли семеновские „вагоны смерти“ с рубленными следами сабельных ударов на стенах, с темными пятнами крови и надарапанными надписями о нечеловеческих муках, о предсмертных часах...

В освобожденных городах началась реорганизация партизанско-повстанческих войск по образцу Красной армии, только вместо военкомов были введены политические уполномоченные. Под вуалью так называемого Владивостокского „земского правительства“ был образован Реввоенсовет во главе с Лазо — членом Далькрайкома РКП(б).

В Никольск-Уссурийске были торжественно похоронены партизаны, павшие ночью при штурме города. Длинной вереницей идет пехота, ведя под уздцы оседланных лошадей убитых, цокают по серому булыжнику подковами кони, высекая почти незаметные днем искры, дребезжат зелеными щитами орудия.

Едут партизаны в папахах, рассеченных красными лентами, с драгунками и японскими карабинами за спиной. Японские офицеры в шапках ушанках, с маленькими поперечными погончиками на плечах с интересом смотрят на партизан. Еще так недавно им были недоступны эти улицы, лишь неузнанными разведчиками они появлялись на них. Шныряют в толпе юркие японские фотографии, японские парикмахеры, часовщики. Прачки с вечными, несмываемыми улыбками на широкосклых лицах стоят в белых халатах и внимательно слушают оркестры, а может быть в то же время и точно подсчитывают конных, пеших, орудия, пулеметы. Японец в штатском с жесткими ко откими усиками быстро записывает что-то на левом манжете. Облокотившись о косяки дверей с багровыми длинными лентами, на которых тушью написаны иероглифы-аклинация от злых духов, неподвижны китайские „кубезы“ в длинных одеждах и мягких тупоносых туфлях. На углу задержались на серых откормленных ширококрупных, видимо мало езженных лошадях, китайские кавалеристы в голубых тужурках, с ногами засунутыми до каблуков в матовые серебристые стремяна. Уже по-весеннему греет солнце, отражаясь в базарных лужах. Ветер несет осязаемое лицом тепло с Тихого океана. Мягко выводят валторны:

„Вы жертвою пали в борьбе роковой...“

И солнечные прощальные лучи пробиваются под неплотно прибитые крышки гробов, стоящих на оружейных лафетах...

В городах Приморья все чаще и чаще раздавались требования о советизации края, о немедленном выводе японовойск.

Японские начальники, принимая в своих штабах наших представителей, так отвечали на вопросы о времени эвакуации японовойск:

— Японскому командованию ничего неизвестно...

— А когда же будет это известно японскому командованию?

Все тот же ответ, одобренный загадочной, как хитрый ребус, улыбкой и незаметным пожатием плеч:

— Японскому командованию неизвестно, когда это будет известно.

Но нам стало известно, что японцы к чему-то готовятся. В Никольск-Уссурийске, когда над затихавшим городом спустились быстрые приморские сумерки и кричали по-вечер-

Нему перед дождем хрипло и долго китайские мулы, наша артиллерия выезжала за город на Фенину сопку. Ночью, освещаемые фонариками орудия ставились на заранее выбранные позиции, каналы пушек направлялись так, чтобы в случае тревоги можно было ударить по японским казармам. Ранним утром, когда от холодной росы мокли и чернели сапоги, орудия покидали сопку. И каждый раз на шатких пригородных мостах с непрочными перилами, на спящих еще улицах с закрытыми ставнями домов попадались навстречу японские патрули — глубокие капюшоны шинелей с плоскими пуговицами откинута, на фуражках металлические желтые звезды, штюки в стальных ножнах висят на поясе, винтовки лежат, прижимая погоны плашмя на плечах.

Но в общем все пока что обстояло благополучно и японские солдаты, встречаясь где-нибудь с нашими бойцами, улыбались, указывали пальцами на красные банты и говорили о себе:

— Наша тоже бурсавика... Бурсука хороша...

ТРАГЕДИЯ В НИКОЛАЕВСКЕ НА АМУРЕ

Тряпицын, причислявший себя к анархистам, командир партизанских отрядов, вытеснив японские войска из низовьев Амура, занял крепость Чныррах и окружил Николаевск на Амуре — город, расположенный в 30 км. от устья. Японцы неоднократно пытались разрубить это кольцо и прорвать осаду партизан. Но их храбрые атаки встречали не менее храбрую стойкость партизан. Тряпицын два раза посылал в город парламентаров с предложением сдаться — и оба раза они были зверски убиты японцами. Ненависть к японцам в низовьях Амура особенно велика — здесь жили дети и родственники тех пленных каторжников, которых японцы ни за что казнили в 1905 году, получив согласно Портсмутскому договору южную часть Сахалина.

После падения Владивостока, Никольск-Уссурийска, Хабаровска, отрезанные от империи ледяными необозримыми полями японцы согласились 28 февраля на вход партизан в город. Тряпицын, имея в своих руках радио, рассылал „Всем, всем, всем“ весьма хвастливые многочисленные телеграммы, в которых необычайно возвеличивал себя и приукрашивал свои заслуги. Властный, он не признавал чужих советов, отказывался подчиняться вышестоящим органам и приблизил к себе палача Лапту, о котором определено было известно что это провокатор, калмыковский контрразведчик.

С японцами у Тряпицына наладились довольно мирные отношения, некоторые японцы иногда даже ночевали в штабе Тряпицына. Но видимо это было лишь ловким маневром.

Ночью с 11 на 12 марта японцы неожиданно окружили штаб, подожгли его и открыли по всему городу стрельбу.

Против дверей штаба они поставили пулеметы, которые метко отсчитывали пулями выбегавших из этого внезапного костра людей. Тряпицын выскочил из окна с раненой ногой, почти все сотрудники штаба были перебиты японцами. Застигнутые врасплох партизаны, квартировавшие по частным домам, в одиночку, каждый сам по себе бою и командир, приняли случайный бой с японцами.

Около трех дней дрались партизаны, неся огромные потери. Им помогли еще китайские канонерки — они обстреляли японские цепи, направлявшиеся к месту стоянок скованных льдом канонерок для занятия главного выхода из гора.

Японцы защищались отчаянно, раненые стреляли до тех пор, пока их не убивали. Выпустив все пули, разбрасывали части винтовок в снежные сугробы. Японский консул со всей своей семьей и сотрудниками сгорел в здании миссии.

С открытием навигации на горизонте показались дымки кораблей — это шла к Николаевску на Амуре эскадра под флагом „Страны восходящего солнца“. Пять тысяч пехотинцев высадились на берег. Тряпицын после нескольких боев взорвал крепость, разрушил до основания весь город и, утопив и расстреляв всех непожелавших уйти с ним, двинулся в село Керби, Амурской области. С прибытием в Керби возмущение против ненужных жестокостей Тряпицына росло, наконец вспыхнул бунт. Арестовали штаб Тряпицына. Был избран новый штаб во главе с коммунистом Андреевым. Народный суд приговорил Тряпицына и его ближайших сотрудников к расстрелу.

Японцы, вступив на пепелище города, сняли для кино все разрушения, заняли в отместку северную часть Сахалина, а в ответ на протест Америки послали экземпляр кино-хроники „Исчезнувший город“.

Так закончились эти печальные николаевские события, вошедшие в историю гражданской войны под именем „Трагедии Николаевска на Амуре“.

Они привели к еще более кровавым событиям 5 апреля.

5 АПРЕЛЯ

Третьего апреля японцы пригласили нашу владивостокскую правительственную комиссию на „чашку чая“, а через день они уже громили город, над домами и сопками ветер трепал японские флаги. Казалось, что Владивосток превращен в японский порт, а Японское море — во внутреннее море империи. Захваченных корейских революционеров японцы приводили в бухту Улисс и, привязав на шеи старые рельсы, топили со словами:

— Худой колейса... Колейса худой...

В руки японцев попали тогда и главные военно-партийные работники — Сергей Лазо, Луцкий, Сибирцев. В почтовых теплушках они привезли их потом на станцию Уссурй и в мешках, еще живыми, передали для расправы казакам. Казаки втащили мешки в один из паровозов, первым высвободили из мешка товарища Лазо и начали толкать его в топку. Лазо сопротивлялся, упираясь руками о горячие стенки. Казак ударил его по голове. Лазо рухнул без сознания. Его бросили в топку. Затем, не развязывая мешков, пристрелили Луцкого, Сибирцева и также кинули их в огненную пасть.

В Никольск-Уссурийске за день до выступления японцы устроили банкет, заворя на нем наше командование и начальника гарнизона Андреева в неизменной дружбе. Однако дружбе приходилось мало верить. Был отдан приказ перевести все артиллерийские части, квартировавшие в центре города, в окрайные казармы. Опустел артиллерийский парк — батареи выехали днем. Фургоны, скрипя колесами, перевозили снаряды в ящиках с веревочными ручками, куски прес-

сованного, стянутого проволокой сена, кухонные котлы, черные, изрезанные ножами парты. Новые казармы, соединенные со старыми полевым телефоном, смотрели на сумерки темными окнами — электричество не горело. При свете огарков на железных кроватях лежали одетые бойцы, подпоясанные, с отстегнутыми крючками воротов. В конюшнях дремали замученные кони.

Незадолго до восхода солнца вдруг перестал отвечать полевой телефон из старой казармы. Напрасно телефонист продувал и энергично тряс трубку: старая казарма молчала. Не возвращался и последний фургон со снарядами. С первыми лучами солнца утреннюю тишину расколот выстрел. За ним, как эхо, другой, третий. Кто-то крикнул:

— Запрягай!..

Верховой без шапки пролетел мимо, молотя ногами неоседланную лошадь:

— Японцы выступили!..

Пушки торчали в парке, никто не знал, что делать, так как было строжайше приказано: „первыми огня ни в коем случае не открывать“. Когда японские снаряды разорвались в парке, взметая сырой песок и полешки, на которых только что стояли орудийные колеса, — лошади рванулись вперед и началось отступление. А в это время японцы уже расстреливали пехотный полк, загнав его к реке Суйфун. Здесь недавно прошел лед, на берегу на низком разрыве с противным металлическим визгом рвались шрапнели, залетные пули били по воде, рождая сотни неуспевших расходиться кругов. Лошади падали со сбитыми на бок седлами, люди, избежав смерти на земле, находили ее в холодных волнах Суйфуна. Пушки застряли в весенней черной грязи, которая чавкая облепила спицы колес, ноги людей и лошадей. Ездовые, наклонясь вперед, рубили нагайками блестящие потные крупы коней. Лошади дрожа выдергивали одну ногу, эластичные и крепкие щупальцы грязи цепко хватали другую.

Бойцы грудью упирались в колеса, нажимали изо всех сил на спицы, кричали:

— Раз, два... Дружно!

Свистели нагайки, кто-то подбадривал:

— А ну, идет, идет, идет, идет!..

Но пушки, похожие на многопудовых лягушек, не хотели выскакивать из этого круто замешанного весенним солнцем теста.

— Эх, сухо по ухо... — сказал боец, вытирая грязной ладонью пот со лба.

— Подпречь еще уносал..

Двадцать две лошади, — и эта разномастная живая цепь не вытянула пушек. Не помогли нарубленные шашками охапки кустарников, грязь охотно заглатывала их, а орудия, не сдвигая и шага, прирастали к своим негаданным могилам. Казалось, что даже солнце уже устало смотреть на этот неравный бой человека с природой — оно медленно начало кагиться за сопки. А невдалеке возвышался железнодорожный переезд — там крепкий грунт, приятно скребет подметки галька, шлак, там сильные удары лошадиных копыт лишь зажигают искры.

Грязь холодела, пузырилась, затягивая, как пластырем рачь, следы колес и ног. Все пушки кроме одной, успевшей проскочить по неразмятой еще грязи, решено было бросить. Выпрягли лошадей, они всгряживаются, как собаки, ребра выступают на боках, впавших за день. Бойцы вынули замки от орудий и, шлепая тяжелыми от грязи шинелями, пошли вперед к переезду.

— Зачем в городе мы стояли? — сказал один из бойцов, оборачиваясь к Никольск-Уссурийску, где зажигались уже первые огни и срывались последние красные флаги. — Не поймали бы они нас так, если бы мы с Фениной сопки на них смотрели...

Пушки стояли, чернея в темноте.

Город взят, неделей позже японцы сожгут его начальника гарнизона Андреева, подобно Лазо, Луцкому, Сибирцеву, в паровозной топке...

Третьего апреля необычайно веселое утро выдалось и для Хабаровска — уходит несколько онских эшелонов. На вокзале толпятся хабаровцы и обсуждают это радостное событие.

— Скоро совсем уберутся!..

— Из Имача, — говорит боец с красной повязкой на рукаве, — еще вчера ушли. Всех своих торговцев и парикмахеров забрали...

— Смотри, смотри, прицепляют паровоз!..

По перрону быстро прошел дежурный, он нес путевку и жезл с большим проволочным кольцом. Заиграл горнист, солдаты побежали к вагонам. Машинист нагнулся из окошечка будки, принял жезл и под гудок поезд двинулся. Японские солдаты кричали, высовываясь из окон:

— Бурсука хороша! Стреляй нет! Проссяй! Война кончай!..

Чья-то сердобольная душа сказала им в грохочущий след:

— Счастливого пути! Езжайте на свои острова и не путайтесь в наши дела...

Четвертого город жил, как всегда. Шли дети в школу. Без патрон занимались на покатоном плацу бойцы. Сгибаясь под тяжестью плоских коромысел с корзинами свежей рыбы, ранней зелени на концах, бежали китайцы и, завидев женщин с пустыми плетенками, кричали:

— Марко-овка-а-а!..

В девять утра над городом взвилась ракета, лопнула, рассыпалась порухшими на пути к земле искрами. Затем прозвучал орудийный выстрел и по этим сигналам свинцовый поток залил холмистые улицы Хабаровска. Пулеметы, винтовки, орудия оставшихся японских частей простреливали незащищенные улицы, вырывали камни, рикошетируя пули летели с глухим свистом от стен к стене, выцарапывая штукатурку, резко звенели стекла, в развалины обращался кадетский корпус. Ухали бомбометы и бомбы поднимали на воздух темные гейзеры из разорванных человеческих тел, камней и стекла.

Обезумевшие жители бросались в погреба, застигнутые на улицах прижимались к стенам, напрасно ища в них спасения. До самого вечера продолжался расстрел города, раненые корчились у афишных тумб, у витрин магазинов—японцы не разрешали подбирать эти осколки людей. Вечером раненые, опираясь на кровавые пальцы, волоча тяжелые, простреленные, словно отмороженные ноги, уползали в подворотни. Горели дома. Регулярная армия японской империи, руководимая офицерами генерального штаба, праздновала свою победу. Солдаты чистили винтовки, пулеметы, орудия. На руки взамен сегодня потраченных раздавались новые обоймы патрон.

В результате японской провокации 5 апреля все узлы линии железной дороги от Владивостока до Хабаровска, за исключением станции Иман, оказались снова под властью японцев.

Армии уже фактически не существовало, кой-какие отряды рассеялись по тайге, ушли в сопки; главным образом уроженцы Европейской России и Западной Сибири, брели на север, за Амур.

— Перейдем Амур,—думали они,—а там и в Советскую Россию пробьемся...

На станциях созывали митинги, ораторы долго и громко, стоя на перевернутых бочках, говорили по-разному: кто тащил в таежные тропы, кто призывал сохранять боевой кулак. Артиллеристы везли свою одинокую пушку, как знамя. На остальных лошадях блатались оружейные построения со свободными концами. Артиллеристы были самой дисциплинированной частью этих ватаг, этой людской пыли. Сотни лошадей заставляли артиллеристов соблюдать воинский строй, для лошадей был нужен овес, сено. Продолжали существовать фуражиры, своевременные водопои.

Уссурийские казаки молча смотрели на отступавших. Собаки охрип от лая на толпы чужих прохожих. Куры в палисадниках шелестели прошлогодними листьями. На подоконниках раскрытых окон стояли потные перевернутые стаканы с рассадой. В домах на стенах иногда можно было видеть календарные портреты румяного полковника Романова в гусарском мундире. Казаки на просьбу о еде ссылались на баб:

— Однако, паря баба за сеном поехала. Не знаю...

Они привыкли сдавать землю в аренду корейцам, цедить сквозь зубы китайскую водку, иной раз убить тигра. Остальное все хозяйство делала у них „паря баба“.

Так походным порядком отряды дошли до окруженной высокими сопками станции Карфовской, около Хабаровска. Низкие облака снеговыми шапками сели отдохнуть на вершинах сопки. Здесь скопились войска разных родов оружия—пехота с винтовками на веревочках за спиной, партизанская кавалерия на лошадях с необрезанными хвостами, бывшие артиллеристы без пушек. Некоторые части продвинулись на следующую по направлению к Хабаровску станцию—„Красная речка“.

Командиры твердо решили:

„В сопки не уходить, армии не распускать, а наоборот, сбивать части и вводить дисциплину. Не допускать японцев продвигаться из Хабаровска и при случае овладеть самим горо-

дом. Держать тесную связь с войсками, стоящими на том берегу Амура“.

Несмотря на это решение—порядка все-таки было мало, сторожевое охранение не выставлялось и вот, как всегда на рассвете, японский бронепоезд с машинистами в белых перчатках, покрывая два батальона пехоты, подошел к „Красной речке“. Быстрые, ловкие японские солдаты сняли часовых и обстреляли станцию. Наши разрозненные соединения бросились бежать обратно к Карфовской, неся на штыках не победу, а большие караваны черного хлеба—свои походные цейхаузы, выбрасывая друг друга из вагонов, теснясь на крышах. Не помогло и оружие, поставленное на платформу, кое-как укрепленную мешками с песком. Решено было уходить немедленно в Китай, перебраться там через Амур и влиться в дисциплинированные амурские части.

Солнце крепко жжет, мокрит соленым потом спины под вывернутыми шерстью вверх полушубками, намокли и папахи с почерневшими подкладками. Воздух прозрачен до необычности, кажется каждый камешек различим на вершинах желтых сопек. Кукушка приветствует весну, ей отвечает свистом китайская иволга, скрывающаяся в тени рябины.

На парамах отряды пересекли пограничную реку Уссури и вошли в Китай. Пустынно. Лишь птицы четко выделяются в нежной синеве неба, облетая эту нетроddenую беспечную вооруженную толпу конных и пеших. Пахнет дымом—недавно с шипением полз огонь, выжигая старую прошлогоднюю траву, черные остатки ее с сухим треском ломаются под ногами. Из-за невысоких, но густых кустов по узкой, слабо натопанной тропинке вдруг вынырнули китайцы, неся в корзинах мягкие круглые хлебцы, испеченные на пару.

— Пампушка надо, капитана? Пампушка.. Надо, капитана, пампушка?—кричали они, протягивая длинными коричневыми руками пресные булочки.

Повеяло прохладой и впереди темно-синей лентой, синее возвышавшегося вправо хребта Хехцир, мелькнул перед глазами всадников великий Хелонг-Киянг—Амур. Поднимались на стремянах, кричали:

— Амур!.. Амур!..

Пехота прибавила шагу и скоро отряды были у толстых глиняных крепостных стен китайской деревушки, разбросавшейся

по желто-песчаному берегу Амура. Черные свиньи подрывали основания осыпавшихся стен—древнюю защиту от деревянных пушек хунзузов. Сети сушились на козлах. Лохматые собаки с лаем бросились на людей. Пампушечники, неся в руках, как баранки, мелочь для сдачи—связки копеек „чон“ с дырочками по середине монеты, окруженные бойцами, тотчас садились на корточки и открывали торговлю. Давно нечищенные лошади с репьем в хвостах и нечесанных гривах тянули ездовых к воде, где берестой плыли еще отдельные восковые льдины. От маленьких фанзушек с заклеенными бумагой окнами, с теплыми трубами, по которым идет дым, обогревая „каны“ для сиденья, несло приторным запахом бобового масла. Скоро по всему берегу пылали бивачные косматые костры, на огне грелись котелки с амурской водой. Командиры торговались с хозяевами джонок. Квадратные паруса джонок сшиты из лучших мешков с яркими разноцветными фабричными клеймами. Хозяева сжимали и разгибали пальцы, держа перед лицом командиров ладони и кричали:

— Таяна, таяна!..

— Таяна просят. Это рубли их,—сказал боец, поднимая рогулькой котелок.—Вот сдерут сегодня купезы...

— Таяна!..—кричали джоночники, указывая на бойцов и прижимали один палец.

— Таяна!..—продолжали они, протягивая два пальца к лошадям.

— Ну, кажись справили нам пароходы...—сказал боец, увидев, что китайцы прячут деньги в глубоких карманах своих длиннополых, как поповские рясы, одежд.

Бойцы лежали у костров, дремали.

— Эх, не такая б студеная вода, я б через Амур по-собачьи переплыл!

— Ну, по-собачьи б ты не переплыл,—возразил чей-то спокойный голос.

— Не по-собачьи, так по саженке. Я реку Обь переплывал...

— А судорога тебя бы враз свела...

— Судорога?.. Я булавку меж пальцев держу. Как начнет сводить, кольну ногу—и плыви дальше...

— Чего плыть? Завтра на джонке уедешь...

Ранний предутренний дождик осыпал мелкой пылью потухавшие костры, потом ветер пробежал рябью, подметая воды

Амура. Но когда взошло солнце, небо было чистое, только вдали, словно отсталые от каравана, плыли маленькие облачка с розовыми вззубринами.

— Ребята!—вдруг крикнул боец, протирая сонные глаза.— Товарищи! Джонки-то угнали!..

От костров вскакивали в лохматых папах бойцы. Действительно, у берега—ни одной джонки.

— Вот те уехали!..—покачал головой боец, расстегнув гимнастерку и с сердцем почесав подмышками.

Бойцы выискивали глазами исчезнувшие джонки, но видели только тот левый наш берег. Казалось, что там и трава зеленей и песок желтей.

За ночь джоночников переманил какой-то более богатый ховяин. Скоро новые джонки подплыли к берегу. Договорились, но у этих джонок поставили на ночь уже часовых. А утром, когда еще дымился Амур, первые кони, наклоня борта джонки, осторожно, как слепые, переступая ногами, вошли на заставленную досками палубу. Медленно плывет джонка, кажется никогда она не расстанется с этим китайском берегом, где все еще ясно различимы лавчушки с мылом в жестяных коробках и белыми спиртовыми банками на окнах. Но вот все ближе, ближе правый берег. Кустарник с сеткой высохшей желтоватой пены на листьях от пронесшихся весенних вод тянется к джонке. Легкий толчок о песчаный обрыв, под смолистым килем скрипит зубами недовольно галька, треск сломанных сухих дудочек камыша, забытых льдинами у берега—лошади, высоко поднимая передние ноги, выскакивают на влажную траву амурской земли...

АМУРЦЫ

Левый высокий „японский“ берег разлучал под Хабаровском с правым взорванный мост. Две фермы его силой динамита были сброшены со своих гранитных быков и пили теперь тупыми носами воду. Вода пенилась около ферм, не отражая более в своем быстротекущем зеркале эту прозрачную ажурную крышу. Среди исковерканных рельс, по которым еще недавно неслись поезда, белели льдины, разламывая хрупкие, изъеденные уже весенними водами концы.

Наша части по берегу Амура возводили ночами окопы, блиндажи. В темноте молчаливо, без гудков подвозили паровозы составы со шпалами, мешками с песком. Днем японская артиллерия разрушала большую часть сделанного, гранаты невидимыми клещами вытаскивали гвозди, шпалы взлетали выше кустарников и, осыпаясь песком из сожженных мешков, шлепались об изрытую лопатами саперов и снарядами землю. Японцам были прекрасно видимы с высокой хабаровской горы наши низины, кустарники, недавно покинутые водой и длинный стальной путь, уходящий среди болот и сопок к сердцу Амурской области. Когда потухало солнце, в разрушенных укреплениях снова копошились упрямые саперы, визжали пилы, стучали топоры, вколачивались гвозди и передавались из рук в руки, как арбузы, мешки с песком. Наше командование опасалось сгнать канонерок, стоящих в затоне. Правда, части дизелей увезли на правый берег, но разведка доносила, что японцам доставили недостающие механизмы из Владивостока. Приказано было минировать Амур в нашем фарватере. Силы фронта увеличились бронепоездом, присланным из Благовещенска оабочими Чепури-

ского завода, и переправленной с левого берега никольск-уссурийской пушкой. Из пушки, перебрасываемой с одного конца фронта на другой — ее за это звали „Летучий голландец“ — почти непрерывно вели огонь, создавая тем слабую иллюзию мощной артиллерии.

Вскоре японцы предприняли наступление. Ночь. На Амуре тихо, лишь однообразно и неустанно плескаются волны у берега. Горит яркими огнями Хабаровск. Кажется — это огромный океанский пароход с освещенными окнами кают плывет по реке „Черного дракона“. Прошуршала над кустарником большая птица. Бренчат котелки, где-то звякнули штыки.

— Тише, ты!.. Я тебе покурю!..

Это идут сменяться на передовую линию полки. И вдруг все замерли — ясно и четко били воду где-то совсем близко пароходные колеса. С потушенными огнями, едва шлепая плицами колес, показался белый остов парохода. Пароход подходил к островку около берега, чтобы с рассветом перебросить отсюда в окопы через Бешеную протоку десантные части.

— Стой!.. Кто идет?..

И сразу защелкали залпы. Японские цепи залегли на островке, до утра враги расстреливали темноту. Утром японцы пытались под защитой канонерок и легких батарей из города высадить на Амурской земле десант. Били шестидюймовые с канонерок по нашим окопам, визжали над головами трехдюймовые шрапнели, но амурцы не бросали укреплений. Понтоны тонули, рассеченные огнем нашей пушки и пулеметными строчками. Лодки тонули. С криками „Банзай“ японцы погружались в Амур, увлекаемые ко дну винтовками, патронами, штыками.

Ночью японцы отступали, немало удивляясь перемене бойцов. Они говорили потом в Хабаровске:

— Бурсавики не хунхуз — шибко мастер воевать...

Через несколько дней амурцы, согласно договору между японским командованием и вновь призванным к власти Приморским земским правительством, отошли на 20 км от Амура.

Вот что происходило за эти месяцы во Владивостоке. Разогнав 4 апреля правительство, японцы оказались без русской власти. Они хотели объявить правителем Приморской области

атамана Семенова, но консульский корпус не согласился на это. Пришлось японцам с извинениями освобождать захваченные учреждения, спускать свои национальные флаги и приглашать оставшихся в живых, укрывшихся в консульстве одной из иностранных держав членов Земского правительства. Но главного японцы добились. Это было правительство без армии. Японцы предъявили ему ультиматум: в районе расположения японских войск, кроме кадра русской милиции, других русских войск быть не должно — они отходят на 30 км от японских гарнизонов.

Амурская область в то время была в кольце: на востоке, на холмах Хабаровска — японцы; на западе, закрывая дверь в Советскую Россию, сидит атаман Семенов, там, у „Читинской пробки“, держат фронт амурские и забайкальские партизаны. От Амура армия ушла на станцию Бирю, Ин, создав около разъезда Ольгохта первую укрепленную линию. Здесь день и ночь в комариных перелесках дежурят привезенные из Благовещенска пушки. В блиндажах, в легоньких бараках посменно живут артиллеристы. Начиналась полоса амурских дождей, выливавших за два месяца свою полугодовую порцию. Дождь шумел еще в воздухе, сотнями босых ног шлепал по грязной дороге — времянке и беззвучно падал на зелень амурских прерий, оставляя холодные капли на листьях высокой травы. Вода стекала с укрытых брезентовыми чехлами орудий, но пушки в любую минуту готовы были встретить гостей.

А на станции Бира, где на подметенных, усыпанных чистым песком и галькой путях стоит в вагонах штаб амурцев, вводится строгий порядок, части сбиваются в крепкие дисциплинированные полки и батареи. В случае чего разговор один:

— Так в Красной армии, соединимся — чтоб не стыдно было.

Утро начиналось здесь трубой — играли подъем. Еще не розовели сопки, еще молчаливый туман нехотя, как бы со сна, медленно покидал землю, задержавшись на стандартных железнодорожных крышах с белыми надписями: „Окр. 1916 г.“, еще лошади стояли понуро у пустых кормушек — „читали газеты“, а дневальные сметали теплый навоз в кучи, — дежурный, придерживая шашку, шел будить трубача. Конники вставали первыми и со скребницами в руках, строем топали

на конюшни. И конюшни — простой навес с длинными желобами кормушек — сразу наполнялись гомоном, движением. Коней выводили из-под навеса, чистили скребницами, выколачивая их о колья — шерсть летела, как пух от тополей. Кони брыкались, чувствуя щекотное прикосновение скребницы, щетки, и дрожь, как рябь на воде, змеялась по гладкой спине. Садились верхами, ехали к речке, трясясь на неоседланных конях.

— Зачем галопом? Сколько раз было говорено! — кричал старшина.

И вдруг опять наступала в конюшне тишина — на морды коней навешивались бетонного цвета торбы с овсом, мягкими бархатными губами лошади забирали овес, иногда чихали от острых овсинок, жадно косили глазами на соседа, разделенного жердью, и взмахивали торбами, стараясь больше захватить овса.

Пехотинцы поднимались последними, бежали к речке умыться, подвязав вокруг животов выстиранные вчера самими полотенца, потом осторожно несли в полуказармы горячие котелки с чаем. Бойцы и командиры были одеты плохо — в штанах из мучных мешков и в таких же обмотках, но это не мешало крепко и упорно заниматься. В парке зеленели орудия, два из них несколько лет пролежали на дне быстрой реки Зеи — их бросили туда отступавшие красногвардейцы. Рабочие достали пушки, отчистили, как могли, от ила, песка, грязи и прислали амурцам на Бирю. Если заглянуть внутрь каналов, то можно увидеть оспенные рябинки, их выела под водой ржавчина. Иногда команды мешались одна с другой.

— Прицел 78. Трубка 75... Вправо по линии в цепь!.. Эскадрон, строй взводы!..

Занимались рядом, на Бире не хватило плацов и трещотка пулемета сливалась вместе со звоном клинков.

Военные части обзавелись своими шорниками, сапожниками, кузнецами, поварами, портными. Приводилась в порядок амуниция, накладывались заплатки на ботинки, но думка у всех — и у сапожника с деревянными гвоздиками в зубах, и у командира в холщевых бриджах с брезентовыми леями, и у повара с огромным черпаком в руках, и у кузнеца, зажавшего между колен ногу коня, была одна:

— Надо выбить „Читинскую пробку“ и соединиться с Советской Россией. А там... Там и до дому недалеко...

Стрелковые занятия сменялись школами грамотности, в тени чернели доски и бойцы, только что державшие в руках винтовки, принимались теперь за мел. На путях, рядом со штабом, пестрело несколько товарных американских вагонов с разукрашенными стенками — здесь была читальня и печаталась газета „Вперед“.

После проверки, когда в сумерках уже туманными казались, как и утром, сопки, словно смотрели на них сквозь запотевшее окно, — раскачиваясь долго разучивали новые песни. Потом шли в сад, в театр, построенный руками же бойцов.

Так проходил день у амурцев. До новой трубы, до завтрашнего подъема.

Амурцами командовал тогда Серышев при комиссаре Постышеве.

„ЧИТИНСКАЯ ПРОБКА“

Осенью 20 года атаман Семенов, получив в подкрепление каппелевцев, бежавших от 5 Красной армии, и сохраняя верно-подданные отношения с японцами, крепко сидел в Чите. Правда, забайкальские партизаны дзвали ему себя чувствовать, — то, как пьяный, свалится под откос паровоз, ломая столбы, вырывая кучи песка, гальки, то семеновский отряд, отойдя неосторожно от железной дороги, попадет в нечаянную засаду и редко-редко какой сотник или есаул из этого отряда увидит еще раз станционную водокачку и один из 18 бронепоездов с очень грозными именами, с трехцветным флагом у бронеплощадки.

Атаман думал даже о привлечении партизан на свою сторону, ведь сам он тоже забайкалец, когда-то был чуть-чуть не „революционером“. Найдется общий язык. И атаман пишет письмо командиру Ингодинского отряда Пакулову.

Вот это письмо:

„Главкомандующий всеми вооруженными силами Походного атамана всех казачьих войск Российской восточной окраины, 12 августа 20 г., гор. Чита. Станичнику Пакулову.

Неужели вы не слышали голос и вопли родного вам Забайкалья? Неужели вам чужды страдания русского народа? Чего же вы наконец глупите? Ведь если вы до сих пор бо-ролись, как вы об этом говорили, за прекращение гражданской войны и установление мирной жизни, то, чем объяснить ваше настоящее выступление? Ведь вы сейчас взяли оружие в руки в тот момент, когда ваши же политические руководители — Шиллов, Краснощеков подписали мирный договор

с Японией и со мной, и мы накануне общего мира и спокойствия. Неужели вам не надоело бродить по лесу и влечить жалкое существование? Опомнитесь же! Народ ваш устал и хочет мира. Не мешайте закончить мирные переговоры, которые близятся к благополучному концу, иначе вспыхнет новая, но более ужасная братоубийственная война, а иностранные государства могут воспользоваться нарушением вами договора и отнять у нас наше родное Забайкалье. Понимаете ли, вы своими действиями встали на путь врага всего русского народа!

Атаман Семенов“.

Партизанский командир, получив атаманское послание, не очень долго думал над ответом. Ответ за него писала сама жизнь. Пакулов вырвал листок из полевой книжки:

„Командир 4 Ингодинского партизанского отряда, августа 16, 1920 г. № 183, ст. Шилка.

Господин атаман! Письмо ваше получил 14/3-20 г., в котором вы указываете о том, что я боролся до сих пор за прекращение гражданской войны и установление мирной жизни. Да, вы правы, но все же не совсем. Я еще и боролся против вашей реакции, т. е. против того жестокого террора, которым вы притесняли трудовой народ, что несомненно по вашему приказу делали ваши доблестные офицеры. Нам ни одна история не говорит о таком разбое, какой чинили вы, атаман. Я задам вопрос. Просил ли кто из трудящихся быть повелителем и властелином здесь в родном нашем Забайкалье вас? Но вы еще изволили именоваться повелителем крестьян всей России. Оглянитесь, атаман, назад, вы увидите целую вереницу вдов, сирот, отцов, матерей, обездоленных и это дело ваших рук, любезный атаман. Едва ли может быть еще в мире изверг, как вы, атаман. На совести вашей лежит тяжкое преступление, и вы искупаны в народной крови, и эта кровь не даст вам покоя. Если вы человек, но не изверг, и вы мне указываете еще о каких-то поступках, о какой-то могущей вспыхнуть войне с японцами, я со своим отрядом стою на той линии, которая мне указана, не мешая осуществлению мирных переговоров между Японией и народно-революционной армией. Я не выхожу из рамок распоряжения своего командования. А если ваша провокация еще хочет натолкнуть

на войну с Японией, так знай, атаман, что Япония, видя ваши поступки, перестала верить вам. Вы помните наверное ваше послание японскому принцу, перед которым вы проливали крокодиловы слезы, и помните, что ваши намерения не осуществились. Вы теперь трепещете за свою жизнь, а почему не трепещете за те жизни, когда подписывали смертные приговоры? Так будь же ты проклят, атаман, от имени всех сирот, вдов, отцов и матерей убитых тобою людей!

Командир 4 Ингодинского партизанского отряда Пакулов“.

В октябре японцы приступили к эвакуации войск из Забайкалья. Тогда же на Бире началась погрузка амурцев в вагоны. Атаману приходил несомненный конец — амурцы едут вышибать „Читинскую пробку“.

Артиллеристы заводили по трапам коней, подстегивая сзади уросливых, одевали на морды мешки, кричали весело:

— Заходи, заходи! На атамана идем!

Пушки вкатывали на открытые платформы. Бронепоезда свистя уходили вперед. Пехота с отомкнутыми штыками забрасывала в вагоны вещевые мешки, кто садился на неоструганные нары, кто, свесив ноги, теснился у дверей. Из одного вагона слышалось: „Ты моряк, красивый сам собою“, второй вагон с посвистом, гиканием пел: „Пушка трехдюймовая, скорострельная“, и все это покрывалось паровозным ревом и переборами гармошек. Поезд прижимался к обрывистым сопкам и лишь разноцветный фонарик последнего вагона долго еще смотрел красным немигающим глазом на опустевшую станцию Бира.

Бойцы ехали по Амурке, по колесухе, построенной с нечеловеческими трудностями руками арестантов.

Комиссар одного из полков, когда-то сосланный царем на Амур, рассказывал бойцам о постройке колесухи:

— Сотни арестантов, что шпалы легли вот здесь. Вдали от людей, голодая, холодая, били мы сквозь тайгу дорогу. Тысячи „гнуса“ — комаров и мошек, от которых воздух звенел, слепили глаза. Согнувшись, возили с карьера тачки с песком. Везешь, а комары облепят лицо, спину, руки и сосут, тянут кровь. А не успели еще просохнуть краски на стенах станционных, как грунт оттаял и превращался в кисель. Все в нем тонуло. И шпалы, и рельсы, и балласт. Опять начинали брe-

сать балласт, мяли, топтали ногами грязь... Да, немало, немало полегло здесь нашего брата!..

А потом отстрелялась здесь война, мосты беспрерывно сжигались партизанами. Бывали дни, когда облитые мазутом, горели сразу 300 мостов, дым долго не расходился по сопкам и только ночью пропадал где-то, заплутавшись в тайге. Сейчас мосты были починены кое-как, вместо легких ферм стояли клетки шпал и поезда с амурцами, закрыв поддувала, шли по этим мостам медленно, как путник одолевает ручей по шаткому бревну, слегка пригибая шпалы.

У дверей „пробки“ скопилось немало войск: амурская пехота и артиллерия, забайкальская кавалерия, танки. Особенно понравились забайкальцам танки. Маленькие, злые длинношерстые монголки при виде этих двух громахающих чудовищ в диком ужасе поднимались на дыбы, отрывая от земли некованные копыта.

— Во, паря зараза, штука! — говорили с восхищением чернорусые смуглые забайкальские партизаны, глядя на танки, которые, печатая на пыльной дороге серые ломти, легко, сильнее ветра клонили к земле молодые березки, с треском валили старые почерневшие от дождей плетни.

— Атаману хороший подарок будет, паря зараза!..

Судьба этих танков довольно примечательна — французы послали их, уже ненужных на полях у Соммы и Изера, в дар Колчаку. Но пока танки прощались с Марсельской гаванью и пересекали моря и океан, 5 Красная армия перешагнула Уральский хребет и с неумолимостью ледника приближалась к Байкалу. Танки, остановленные в Харбине, направились обратно „за ненахождением адресата“ во Владивосток. На станции Никольск-Уссурийск стрелки были переведены заведомо неправильно — танки поехали не дальше на запад, а в Хабаровск, на север, и попали в руки партизан.

До начала наступления наше командование попыталось мирно ликвидировать „Читинскую пробку“. Командующий амурским фронтом Серышев вызвал по прямому проводу начальника гарнизона Читы генерала Бангерского.

Телеграфисты амурский и читинский сидели у аппаратов и, пропуская меж пальцев узкие ленты с точками и тире, говорили:

— Я, комфронта амурского Серышев.

— Я, начгар Читы генерал Бангерский. Что угодно?

— Вам, генерал, было послано письмо от вашего бывшего соратника полковника Бурова с предложением перейти на сторону амурцев вместе с вверенным вам гарнизоном и тем предотвратить лишнее и бесполезное для вас кровопролитие, ибо вы хорошо знаете неизбежность вашего поражения.

— Я посылаю к вам для переговоров по данному вопросу полковника Сотникова, который выедет из Читы сию минуту и через 2-3 часа будет на ст. Урульга. Сотников имеет точные на этот счет директивы.

Сухошавый в высоких сапогах комфронта Серышев вместе с начштаба Буровым, бывшим генштабистом у Колчака, затем добровольно перешедшим из Харбина на Амур, ожидали полковника.

— Что он может сказать?—усмехнулся Серышев, расстегнув воротник рубашки и нагибаясь над картой с флажками.— Так или не так, мы все равно вышибем эту семеновскую пробку...

— Что он может сказать? — проговорил и Буров. — Ведь я хорошо знаю каппелевцев. Впереди нет ничего. Позади — могилы, да праздные разговоры об Учредительном собрании, прекращавшиеся с первым же более или менее удачным боем. Но поза, картинность осталась. Теперь они именуют себя героями ледяного похода. Бежали из-под Иркутска, оставив на станции Зима горы зачочневших крестьянских трупов, несли на руках Каппеля, отморозившего себе ноги во время переправы через реку. Вот и герои...

Спустя час в вагон командующего входил Сотников с полковничьими погонами на плечах. Комфронта повторил ему все то, что говорил и генералу Бангерскому. Полковник вынул шашку и медленно, торжественно сказал:

— Вот это оружие герои ледяного похода без нужды не вынимают и без чести не вкладывают...

Серышев молча смотрел на полковника, потом сказал:

— Это все, что вы можете нам передать?

— Да, все.

— Товарищи! Проводите господина полковника до заставы.

Буров, когда закрылась за полковником дверь, развел руками:

— Ну, что я вам говорю? Словно для кинематографа человек играет...

Вечером амурцы и забайкальцы подтянулись к передней линии. На главном железнодорожном направлении будут действовать амурцы, забайкальский партизанский конный корпус должен перерезать линии и не выпустить Семенова в Манчжурию. Опять цокали копыта, танки брели через мелкие, но быстрые забайкальские речушки с крепким дном, усеянном галькой, похожей на галочки яйца.

Ночь обняла землю, она густыми туманами окутала лесистые вершины сопок, зачернила каменистые овраги и кручи, затушевала отдельные деревья, кусты, перелески и тихо и незаметно вкрадчиво спустилась на землю.

Длинной хвостатой змеей распластались по мокрому росистому придорожью костры и багровые языки их рвались прочь от земли в далекое синее с яркими, белыми холодными звездами небо. Порою тот или другой костер вдруг полоскался шире и выше — видно подбрасывали в огонь сухостоя, верещал и дышал золотистыми искорками, а яркое пламя его выхватывало на минуту дерево, растащенный стог, блестящий пучек составленных в козла винтовок и отчетливее рисовало собравшихся вокруг костров бойцов. Кто лежал неподвижно около костра, прикурнувшись уже и так чуть-чуть задымившей спиной к самому огню, поживаясь и пожимая плечами от приятности тепла; кто разогреваясь бегал, возле в перегонку с товарищем; кто отдира л гопака смерзшимися ногами, подпевая и пристукивая в такт ладшами по согнутым коленам, а кто протянул к огню красные иззябшие руки, потирая их, словно умывался.

Амурцы стоят сегодня ночью на этой широкой поляне, кое-где утыканной сопками, и ждут завтрашнего рассвета, чтобы пойти в бой с белыми, крепко сжавшими их в кольцо и пробить себе во что бы то ни стало дорогу в далекую единственную надежду — РСФСР.

Завтра с рассветом снова запоют пули, сердито зачмокают, хватившись с полного лета о мерзлые, крепкие, как железо, кочки, застучат пулеметы, подметая широкой свинцовой метлой, и повалят людей. Но сейчас о смерти не думает никто, и если вдруг набегут на ум грустные мысли, и тревожнее сожмутся пушистые брови, вспомнив убитого закадычного друга-товарища или родную деревеньку с молодой полногрудой женой — всякий гонит сердито их прочь от себя, буркнет что-нибудь

под нос, в роде: „Двух смертей не бывать, а одной не миновать“, и спешит заняться делом: или закурить цыгарку, выпросив на нее табачку у соседа, или осмотреть дырявые ботинки с привязанной телефонным проводом подметкой, неодобрительно покачав при этом головой, или же просто подсесть поближе к костру и погреться, как следует, с запасом на будущие холода.

У одного из костров на коротко подстриженной огнем колючей, сухой и шаршавой траве сидел на корточках старшина и перемешивал обуглившейся с одного конца сучковатой палочкой в горячей золе картошку. Старшина — черный, морщинистый. Он, кадровый солдат, начал службу здесь же на Даль Востоке с двенадцатого года, прошел суровую романовскую дисциплину и она выбила из него начисто все крестьянское и мужицкое, и во всем — в языке, в движениях, в самом облике его, в гладком подбородке, выскобленным ловко сделанной из обоймы бритвой, безошибочно узнавался старый солдат. Он был рожден в несчастный год — над головами старшины и его погодков просвистело не мало шрапнелей. В сентябре 14 года ему выходил срок службы, уже по ночам он чаще и чаще видел во сне жену, соху и поле, похожее больше на ротный плац. В июле — война, сибирские части отправляются спасать Варшаву. И старшина, уведомив жену, проехал с эшелонном мимо родного села. Он стоял на платформе, поезд не задерживался на этом полустанке, жена, держа за руку четырехлетнего сынишку, высккивала среди одинаковых солдатских лиц лицо мужа.

— Аксинья! — крикнул старшина неожиданно для себя суровым голосом, как фельдфебель с пестрыми галунами на рукавах командует: „Разойдись“.

Аксинья вздрогнула, побежала к медленно уползавшей платформе и указывала мальчишке на старшину:

— Вон-от, вон-от тятка-то твой... С усами... Господи боже мой!..

Старшина хотел снять папаху, поклониться односельчанам, толпившимся у бака с кипяченой водой, но рука, поднесенная к голове, невольно отдала лишь привычную „честь“. Так и запомнился он жене — с согнутой в локте рукой, с прямой ладошкой, пальцы касались черного меха высокой папахи, носки врозь, каблуки вместе.

А там — фронт немецкий. Гурецкий. Под Эрзерумом, когда не было патрон, ходил в атаку с пустой винтовкой и тяжелой, словно чугунной фляжкой, в которой замерзала вода. Возвратился домой, только успел поставить новые ворота, как мобилизовал Колчак. Смешны показались старшине после бетонированных блиндажей снежные окопы под Пермью. Устроился он с переводом на Дальвосток и здесь получил письмо с извещением, что вся их деревня сожжена колчаковским карательным отрядом. В Никольск-Уссурийске перешел он на сторону партизан. Старшина деловито храбр, по-стариковски предусмотрителен и запаслив: и отверткой, и иглой, и ружейным маслом, фонарем; и даже в походе, на войне он всегда туго подпоясан ремнем со шлевкой и застегнут на все крепко пригнанные пуговицы. За голенищем, пришитым на манер сапог прямо к ботинкам, кроме алюминиевой ложки, слитой из снарядных колпачков, у него хранится засаленная в сером коленкоровом переплете книжка со списочным составом роты. Обычно он молчалив, только за починкой, за чисткой иногда поет старые солдатские печальные песни: „Ланцов задумал у-у-бежа-а-ать...“

Он страшно не любит неисполнительных бойцов, докладывает о них командиру, говоря:

— Ловчила, товарищ командир.. Ни в одну трубку не думает... Молодой еще. Пушки почитай годок. А она легкая полевая, всего 1902 года образца... Его подтянуть надо...

Около старшины лежал, подоткнув под голову кулак, бывший красногвардеец. Рабочий, грузчик, откуда-то с Волги, и сейчас он ходит слегка согнувшись, словно невидимая кладь все еще лежит на заспинной, обшитой брезентом грузчицкой подушке. Службой в Красной гвардии очень гордится, на Дальвосток привезен из Тюменской тюрьмы в „эшелоне смерти“, внешне он беспорядочен, на язык бойкий и хлесткий и имеет большое влияние на бойцов. Они выбрали его в члены контрольно-хозяйственной комиссии, он носит поэтому самые скверные дрявые ботинки: лучше взять не позволяет ему совесть, и он готов пойти на все, только бы урвать что-нибудь для роты. Он лихой по храбрости, но всегда груб с командиром, любит спорить и вообще мало признает начальство. Старшина не особенно жалуется на это и называет „шибко грамотным“.

Пообок красногвардейца сидел разувшись амурский партизан. Его черное с большими вихрястыми кудрями лицо казалось медным от огня. Он сушил мокрые и грязные портянки; от портянок шел пар, а партизан время от времени, не выдерживая едкого дыма и горячего пламени, оборачивался, отплевываясь и обтирал рукавом ватной фуфайки набегавшие слезы. Он был из новоселов, на деревенской улице у них все еще торчали невыкорчеванные пни с ободранной колесами корой, избенки в сажень шириною с недоделанной крышей, вместо окон — дыра или рваная бабья кофта. Ни овец, ни баранов, старая коровенка, да беззубая, клочьями шерсть, лошадь.

— Известно наша новосельская жизнь! Мухе в избе и то пожевать нечего. Шилом масло черпаем...

Партизанит он давно и сопки уже наложили свой отпечаток на его хмурое лицо с плотно сжатым ртом. Такие энергичные лица часто встречаются среди амурцев, отцы которых тянулись в этот край „за длинным рублем“, а нашли жизнь, полную суровых лишений и непрерывной борьбы с природой. Многие из них брели по тайге, охотились за „фазанами“ — китайцами-спиртоносами, или ловили на мушку „горбачей“ — золотоискателей с мешками, как им казалось полными золота, за спиной.

Но амурцы крайне свободолюбивы и японские насильники родили здесь не мало партизанских бойцов. Партизан часто вспоминал, как зимой они забирали японских часовых:

— Стоит, понимаешь, на мосту. На нем семьдесят семь одежек. И тебе меховые ботинки, и тебе меховые штаны, и меховая шуба, а сверх ее безрукавка еще меховая. Кокнем мы его. Повалится, как осиновая чурка. Замерз весь. А разденешь его, так у него еще полные карманы грелок таких. Ей бо правда! На трех, четырех одеж его хватало, только все маленькое...

Этот партизан был прислан летом на Биру на укомплектование нашей роты с несколькими другими товарищами. Им не понравились бирские порядки и на первой же проверке партизан выставил вперед ногу и закричал:

— Когда обмундировку дашь?... Все завтра, да завтра... На быках, что ли его из Лондона везут?...

Теперь привык. Красногвардеец смотрит на многозвездное небо и говорит:

— Пожалуй там всякий партизан, какой самый ни на есть лучший запутается...

Партизан трясет портянки и говорит уверенно:

— Партизан настоящий никогда. Обязательно хоть меж звезд какую таежную тропу нащупает и где жилым дымом пахнет учует... Партизан, как кета в Амуре, всегда вперед пробьется!..

К костру подошел коренастый боец в растегнутой бахромчатой внизу и кое-где прожженной шинели, без пояса, в левой руке он держал на отогнутом большом пальце жестяную кружку.

— На первую кружку заявляю, — весело сказал он. — Вот, мать честная, погода, ждали полгода. Какое несчастье приключилось — котелок вчера утопил. Загляделся на бабу. Бабы у вас тут амурские...

Он мигнул партизану и, перебирая ногами, начал подпевать:

„Ой, деревня, моя деревянная!
Спогубила ты меня, окаянная!“

— Да... Загляделся и утопил его в колодце. А ведь какой котелок был! Вроде женки. И кашу тебе сварит, и чаем напоит только что спать с собой не положит. Английский котелок Белой масти. И крышка с ручкой, чтоб кашу носить. А теперь под чистую овдовел без котелка и приходится чай у соседей стрелять.

Заметив красногвардейца, он запел:

„Я на бочке сижу и гляжу на небо,
Как контрхов выдает четверть фунта хлеба“.

— Слушай контрхов, мне бы новый котелок надо дать.

— Откуда я его тебе возьму? Знаешь, котелков больше нет. У нас ведь не как у белых — японских цейнгаузов не имеется. После боя поищу, может найду какой завалящийся...

— Ну, ладно с котелком обождем, а уж ботинки обязательно надо — гляди, пальцы на звезды глядят...

— А ты зачем ботинки в огонь совал?

— Ах, мать честная, да ведь холодно...

— „Бронепоезд удалой, как тебе не стыдно — вся пехота впереди, а тебя невидно...“ — запел он и тренькал по животу, по невидимым балалаечным струнам. Присел на корточки, сказал:

— Ну, давай будем чай пить... Чай жеребчик готов?.. Помнишь, — он толкнул в бок пальцем контрхвоста, — когда бежали из-под „Красной речки“ в Китай? Остановились у казачков. Да...

Рассказывал он уже партизану:

— Ждем чая. А у них чай такой пьют. Как камень в печи раскалился, бросят его в чугунок, шшик, и чай готов. Чай жеребчик называется...

— А потом целую ночь до ветру бегают, — неодобрительно сказал старшина.

— Ничего не бегают, — проговорил партизан, пеленая в сырые ржавые портянки много раз помороженные ноги. — А вот в Забайкалье чай сливан пьют. Зазаряг листовой чай. Такой листовой чай, погом соли, масла, яиц туда...

— Тыфу! — сплюнул веселый боец. — Так это не чай, а суп друндалет получается.

— Нет чай. Сливан.

— А что товарищ старшина, мы чтоли завтра передом пойдем? Сказывают будто, что мы. А солдатское радио, оно знаешь, самое верное...

— Это, брат, уже не знаю — как начальство прикажет..

— Передом оно бы веселее... А сейчас мы между прочим читаем вам кое-чего. Шел мимо первого взвода — дружок один дал. Для спасения души говорит...

Он вытянул из кармана свернутую трубочкой какую-то книжечку, раскрыл ее, подсел к костру, прочитал по складам заглавие „Что такое есть Интернационал“, перевернул, поплевав на палец, страничку и продолжал: „Товарищи! Каждый из вас должен знать, что такое Интернационал. Мы боремся за единство всех народов без различия их веры и национальности“.

Старшина выгреб из-под золы совсем уже обуглившиеся картошки, взял одну обжигаясь, перекатывая ее на ладони, надкусил кончиками зубов и бросил опять в золу. Партизан достал из мешка черный, как каменный уголь, кусочек кирпичного чая и кинул его в бурлящую воду котелка. Пили чай. Красногвардеец сказал:

— Каждый человек одинаковым родится. И каждого на пример человека с рождения можно обучить и по-французски

и по-немецки или например по-японски. Вот тебе француз или японец, а человек-то все равно один...

— Вот тоже верно эти японцы, — сказал партизан, с трудом натягивая ботинок. — Уж какие сволочи, а есть ничего, которые и нам сочувствуют. Стояли это мы еще в девятнадцатом году в секрете. И вдруг смотрим, идет прямо на нас японец какой-то, видно заприметил нас. Мы было его уже и на мушку взяли. А он идет, руки вверх поднял, а как подошел ближе, а почет одно: „Наши тоже бурсавика“. Думали с испугу это он, как заблудился человек в тайге. Нет по искренности. Сказывают, потом здорово у нас со своими же японцами дрался. Убили что ли его...

У костров вдруг послышалось громкое „ура“. Сопки тихо подхватили его своими вершинами и передали друг другу:

— Ур-ра... р-ра... а-а!..

Партизан быстро вскочил, посмотрел на винтовки, стоявшие пучком в козлах.

— Я еще далеко иду и слышу, кто это так матерится, — раздался невдалеке сильный и громкий голос комбрига, догнавшего передовые части. — А это оказывается лихая команда связи. Мы, товарищи, революционные бойцы и должны быть примером во всем. Ну, в бою другое там дело... А где у вас командир?.. Соберите, товарищ, вашу роту...

— Слушаюсь... Шестая рота ко мне-е-е!..

Кольцом оцепили комбрига бойцы. Комбриг усмехнулся и сказал:

— Все, что ли собрались?

Промолчали, а потом из задних рядов кто-то, кашлянув предварительного в кулак, сказал:

— Увсе...

— Ну, так вот что, товарищи! Завтра у нас решительный бой. Мы должны у Китайского разъезда перерезать белым линию железной дороги. У нас есть один только выход — вперед. Я знаю, что вы завтра покажете себя молодцами. Но помните, что отступать нам некуда. Там, в тылу у белых, ждет нас измученное крестьянство и рабочие. Мы освободим их и пробьемся к Красной Москве. До завтра! В бою еще раз увидимся с вами. Вперед к победе, товарищи! Ур-ра!..

Дохнув полной грудью, крикнули вслед:

— Ур-ра!.. Ур-ра!.. Ур-ра!..

И нескоро еще разошлись по своим кострам.

В воздухе уже чувствовалась утренняя мгла, звезды меркли, словно улетая все дальше и дальше, подул холодный ветер, затрепал побелевшие дымки костров. У потухавших костров, обсыпанных слоем пепла, не было слышно ни шуток, ни разговоров — почти все бойцы спали или дремали, крепко привалившись друг к другу и зябко поеживались от вшей, росы и холода, и только виднелись ходившие часовые. А когда чуть-чуть забрезжил рассвет, по команде поднялись, построились по-ротно, дрожа от сырости и близости боя, перебирали дробно ногами, ту же подпоясывались, заряжали винтовки, подняв высоко вверх стволы, затем пересчитались, повернулись и потянулись вперед. Через час, когда солнце выбросило из-за сопки горсть золотых лучей и расцветило изумрудом мокрую мураву травы, где-то сбоку хлопнул первый выстрел. Из леса выскочила оседланная лошадь, оставившаяся, увидев людей, а потом, фыркнув широко раздувающимися светло-розовыми ноздрями, брыкнувши задними ногами, поскакала по поляне, спотыкаясь и наступая на болтавшийся повод.

— Вправо по линии в цепи!.

Шептали:

— Интервалы держи!.. Не забегай вперед!.. Не забегай!..

— Цепь вперед!.. Цепь вперед!..

Тихо... Одна, за ней — другая, третья. Протяжно, как-то недовольно запели пули... Застучал пулемет, будто палкой проводили по плетню. На небе взвилось шрапнельное облачко, таяло быстро, как снег на костре.

— Ссссс... Ллом... Ссссс... Ллом...

Шрапнели сначала свистели, потом рвались, точно с крыш бросали доски и они хлопали друг друга концами, как рыбы, вынутые из воды, бьют хвостами. Сдавленные сопками звуки долго рикошетировали.

Быстро и громко:

— Вперед, товарищи!

Белые отступали, теряя раненых, бумаги, винтовки, погонны. Но скоро из тыла подошли резервы и бой принял упорный характер. Много помогли пехоте танки. Одну из сопки, где в наскоро вырытых окопчиках лежала офицерская рота, наша пехота никак не могла одолеть. Несколько раз ходили

в атаку. Но меткий огонь каппелевцев сбивал бойцов. Убитые катились вниз, раненые цеплялись за кустарники.

Танк медленно и молча начал подниматься на сопку. Он был похож на зеленый огурец, как бы нехотя, он лез все выше и выше, подминая под себя кустарники. Замолчали и белые. Танк поднимался. Прострочил пулемет. И когда танк взобрался на гору и остановился, словно б отдохнуть, на танк вскочил офицер, блестя стеклышками пенсне и погонами. Он быстро сорвал с танка красный флажок и крикнул:

— Господа! Танк наш!..

Но он уже не увидит сегодняшнего заката, у танка раскрылись, точно печные дверки, и заговорил одноглазый „Гоч-кис“, простреливая с фланга окопы. Танк стоял на сопке, освещенный вечерним солнцем, как огромный валун, оставленный здесь проходившими ледниками...

Наступление продолжалось до вечера. Бойцы были уже недалеко от Китайского разъезда — стычки двух дорог: Читинской и Манчжурской.

В ТЫЛУ У БЕЛЫХ

На разъезде Китайском светло, как днем.

Стоящие в резерве белые стащили в костры заборы, разломанные кладовушки, снежные загребки, огородные жерди, и сухое дерево весело горит, трещит, пылает и посылает в небо сотни звездочек-искорок. Пламя костров далеко отбрасывает от себя отсвет и красно озаряет набитый людьми и повозками двор, привязанных за ветлы понурых с торбами овса на мордах лошадей и даже забытое чьей-то семьей железнодорожника белье наверху сарая с сорванной крышей.

Выбитые окна уцелевших казарм подхватывают частями стекол пламя и колеблют и ломают его.

В одной казарме — раненые. Там при свете тускло горящих свеч виднеются в грязных, кровавых халатах фельдшера и санитары.

Там на столах, на печках, на скамьях и просто в углах на полу лежат, корчатся, хрипят, бьются и плачут раненые.

В другой казарме — станция. В дежурке — единственной просторной комнате, куда по приказанию генерала, начальника боевого участка, не допускаются посторонние — светло: горят две лампы „Молния“.

За длинным столом около заткнутого тряпкой разбитого окна сидят, низко склонившись, за тремя Морзе телеграфисты. Два офицера — у военных аппаратов, а один молодой телеграфист — у железнодорожного аппарата. В углу около стола, сбившись в кучу, подхватив под ремни винтовки, спят, храпят солдаты — связь от полков. Поодаль, за другим широким столом, глянцевым, обтертым видимо бесконечное число раз рукавами, с измятыми, желтыми от бессонных но-

чей лицами сидят начальник разъезда и стрелочник. На столе лежит большая раскрытая дежурная книга, и стоит горящий с разноцветными стеклами фонарь стрелочника.

Начальник и стрелочник не спят уже третью ночь. Да и как спать?

Поезда с ранеными, с резервами, с орудиями и снарядами, с продовольствием из Читы, из Манчжурии идут почти каждый час. И спать нельзя, а смены нет. Обещали прислать ее с ближайшей станции, но так и не шлют: верно забыли или совсем не до них. А спать никак нельзя. Вчера стрелочник немного задремал, а в это время, как раз случился поезд. Дежурный по разъезду офицер, высокий корнет, сильно хлестнул его, спящего, стском по лицу и даже пообещал застрелить.

Семьи начальника и стрелочника вместе с семьями ремонтных рабочих белые отправили в Читу в начале боя. Все их имущество растащили солдаты, и еще вчера начальник видел, как его комод, тот комод, на который он потратил столько лет службы, солдаты со смехом разбили и бросили в костер. Да что там комод! В первый же день боя у начальника убило корову, и жена успела захватить с собою в дорогу всего фунтов пять мяса, остальное все взяли солдаты. Корову начальник забыть не может никак.

— Ведь даже не поверишь, как мне ее жалко, — устало говорит он стрелочнику. — Так жалко, что просто, хоть ложись и умирай.

Стрелочник смотрит на него слипающимися сухими глазами и сочувственно кивает головой.

— Только в прошлую осень телка первого принесла. По ведру молока давала... Ах, как жалко!.. Кажется, сына родного не меньше б жалел.

Начальник бездетен: он да жена. У стрелочника есть сын. Был сын. Сын „ходил“ в партизанах, и всего только неделю назад его убили в бою. Стрелочник узнал это от тестя, через деревню которого отходил отступавший партизанский отряд.

Стрелочник, услышав сравнение коровы и сына, укоризненно машет рукой и щурит глаза, отчего у него под ними складываются мешочки.

— Что ты, Федор Фомич!.. Что ты! Нашел кого равнять: корову да сына. Что ты!

Они молчат. У каждого из них за эти дни слишком много накопилось в душе, и что раньше может быть переговорилось бы с женами — теперь они выкладывают друг другу. Стрелочник в десятый раз начинает рассказывать, как он был у тестя и как узнал про сына.

— Он мне сразу не сказал. А потом сынишка его, Ванька, с печки кричит: „Дядя Василий, а дядя Василий! А Сережу-то твоего белые убили!“

Стрелочник вытирает засаленным блестящим рукавом глаза и тихо тянет:

— Ну, тогда и тесть рассказал. А ведь как дело-то было... Сережка мой прямо, говорит, на пулемет ихний побежал. Еще, говорит, перед боем все хвастался: „Возьму пулемет... Возьму пулемет“. А оно вишь чего вышло...

Начальник молчит.

— И ведь главное — смотри, куда зашли они... Почитай, чуть ли не под самую Читу... Вот народ шальной!..

Начальник усмехается, снимает красную начальническую фуражку, ерошит волосы и тихо говорит:

— Да под одной ли Читой... Под Манчжурией — тоже наши. Вчера передавали — Коротаев с 40 тысячами Оловянную взял... Мост порвал.

Начальник косится на офицеров-телеграфистов и, облокотившись на стол, говорит еще тише:

— Подмогу шлют туда... Из Читы уже на Крымскую когда ты ходил пропускать 31, вышел 91. Специально офицерский. Всех офицеров собрали из Читы и шлют к Оловянной... Наступали бы скорее партизаны... А что-то кажется опять стихло...

Они прислушиваются. Только трещат и пищат Морзе... Гудят провода...

— Эй, связь шестого полка, — кричит телеграфист-офицер с обмотанными на шее телеграфными лентами.

— Связь шестого полка. Кто?.. — оборачивается он к спящим солдатам.

Солдаты спят и храпят. Офицер встает, подходит к спящим и сердито пихает их ногою.

— Чего разлеглись? Кто связь шестого полка? Ты? Ты что, спишь... Разлежся на печи с бабой?.. Иди, доложи командиру

полка, что начальник дивизии приказал сейчас же выслать резервный полк. Понял? Повтори.

Начальник и стрелочник переглядываются и незаметно улыбаются одними глазами. Закуривают. С железнодорожного аппарата оборачивается телеграфист:

— Федор Фохич! С Карымской запрашивается 91 сборный.

Начальник не торопясь затягивается и говорит:

— Ну, что же, принимай... Только нет, спроси сперва Карымскую... Или постой, я сам.

Он встает и идет к аппарату, волоча отсиженную ногу. Он вызывает Карымскую и говорит, что у него остался свободный только один путь, да Амурский — недействующий.

Карымская отвечает:

— Принять немедленно, хотя бы и на один путь, состав особо срочный и важный.

Начальник криво усмехается и выстукивает еще:

„Предупреждаю, что водокачка на разъезде испорчена. Воды нет. Если паровоз с малым тендером, воды не будет“.

Карымская отвечает:

„Паровоз с двойным тендером. Остановки на разъезде не будет. Путевая — прямая“.

Начальник передвигает ленту, читает ее и говорит телеграфисту:

— Ну, так что же, принимай, Саша, коли так, — и идет снова к столу.

— Этот самый... 91 сборный офицерский... Против партизан. Прямо на Оловянную идет... Вот бы задержать его часа на три, — тихо говорит он стрелочнику. Морщинистое, словно затканное паутинками лицо стрелочника напряженно и сосредоточенно. Он все еще думает о сыне и невольно повторяет вслух заключительную фразу своих мыслей:

— А дело-то, вишь, какое оно вышло...

— Чего ты?..

— Да я все про Сережку-то своего...

— Ну ладно, братец мой, давай иди, делай стрелку. Через полчаса пожалуй будет 91.

— На седьмой, что ли...

— Ну да, на седьмой. Один путь.

Стрелочник встает, туго подпоясывается, вынимает на всякий случай из кармана свисток, ватыкает за голенища

сигнальные флажки, берет фонарь, подбавляет фитиль и по-
зевывая идет. Начальник кричит ему вслед:

— Да, смотри, не спутай. Восьмой ведь прямой, на
Амурскую...

Стрелочник останавливается, потягивается и снова идет
к выходу.

Ночь сразу охватывает его сыростью с головы до ног.
Он по привычке хочет взяться за перила крыльца — руки
хватают воздух.

— Да ведь перила-то растащены.

Во дворе попрежнему весело попыхивают большие широ-
кие костры. От них пахнет паленым.

— Видно опять, сволочи, украли из деревни свиней... —
думает стрелочник.

Он идет прямо по разрыхленной земле огородов и выходит
на пути. На путях стоят неподвижно составы теплушек
с глазами-огоньками, раскрытыми окнами и раздвинутыми
дверями. У каждого состава — паровоз под парами. Паровозы
тихо, паузатично пыхтят, словно задыхаются.

— Чтобы убежать скорее можно было... — усмехается стре-
лочник. — Жмут... жмут... А что, если...

И эта внезапно явившаяся мысль озаряет его лицо:

— А что, если заслать эшелон на Амурку? Там путь разо-
бран сразу в версте за станцией... Машинисту не остановить,
пока рассмотрит... Да где там!.. Уклон... Днем и то нарочито
тормозят.

Стрелочник сам пугается пришедшего ему на ум и дрожит,
как в ознобе. Он чувствует, как краснеют у него уши, как
кровь льет к голове и кто-то стучит в ней молоточками:

— Задержать. Задержать. Задержать. Задержать. Задер-
жать...

И как бы вместе с его мыслями опять сильнее и чаще
заухали орудия и застрекотали пулеметы.

— Задержать. Задержать. Задержать. А там Коротаев
поднажмет.

Он прибавляет шаг и бежит к стрелке. Вот стрелка. Он
поворачивает светлое стекло фонаря — все в исправности.
И если только нажать рычаг...

Он не может стоять и идет навстречу поезду. Мысли ска-
чут, бегут и спешат.

— Задержать. За Сережку. Махом — тысячу. Один за тысячу. Да все офицеры.

Он тихо смеется и, перехватывая светом фонаря впереди путь, широко размахивает руками.

— И прямо в Ингоду. Где удержаты! Тысяча за одного. А потом перейти Ингоду, да и в сопки к партизанам. К партизанам вместо Сережки...

Вдали слышится резкий гудок паровоза.

— У поворота, — соображает стрелочник. Он останавливается, осматривается и возвращается к стрелке, улыбается и хочет закурить.

— После... После... На той стороне Ингоды...

И любовно поглядывает влево на черную Ингоду, безбрежную ночью.

Быстро подходит к стрелке.

Рельсы дрожат.

— Идет. Идет.

Вдали уже виднеются два фонаря паровоза.

— Идет. Идет.

Рельсы дрожат сильнее, сильнее... Стрелочник хрипло прокашливается, высоко поднимает светлым стеклом фонарь к паровозу и крепко, крепко берется другой рукой за рычаг стрелки. Фонарь колеблется в руке.

— Идет. Идет.

Стрелочник дрожит. Руки горят, рычаг — лед, голова в огне. Он въедается крепко рукой в рычаг.

— Вот он.

Стрелочник сильно нажимает рычаг...

И в эти секунды летящий с красными плевками над трубой паровоз на полном ходу перескакивает на новый — восьмой путь...

— На Амурку. На Амурку. В Ингоду...

Мимо стрелочника пррносится состав теплушек. Он слышит, как под колесами вагонов шуршат песок и гравий и как у одного из вагонов жалобно ноет и свистит разгоревшаяся букса. Стрелочник не торопясь тушит фонарь, бережно кладет его на землю и идет к Ингоде. Он усмехается и говорит:

— Вишь ты дело-то какое вышло!..

От звуков голоса ему делается спокойнее. Он переходит через путь и скатывается по песчаной насыпи к воде. Здесь холодно. Он зябко ежится. На станцию он не смотрит. Он садится на мокрый песок и хочет снять сапоги, но делается жалко бросать их здесь и он идет одетый, как есть, в Ингоду.

— Мелко, перебреду и так, — шепчет он.

Он осторожно ступает, нащупывает дно. Он слышит, как быстрые воды реки нетерпеливо бьют о каменные устои быков железнодорожного моста. Вода доходит до колен. Сапоги хлопают.

— Дно крепкое.

Брюки липнут к ногам. Вода дошла до живота. Все тело дрожит от холода воды. Выше. Выше.

— Дно крепкое.

Он поднимает высоко руки и бредет вперед, вперед...

— Вишь ты, дело-то какое вышло!.. Один за тысячу... Ловко, — усмехается он.

...И он не видит и не слышит, как в эти мгновенья поезд 91 сборный, особо важный, с читинскими офицерами, с шумом и лязгом проносится мимо разъезда. А потом...

Сначала, удивленно свистя вырвавшимся на свободу паром, тыкается под откос паровоз, а за ним, как стадо овец — одна за другой, одна на другую, сбиваются в реку теплушки.

СЕМАФОР ПОДНЯТИ

На другой день Читу отрезали, семафор на РСФСР был поднят, бои перекинулись на Манчжурскую дорогу, партизан Пакулов сбросил генерала Бангерского с железной дороги, генерал поспешно отступал в Монголию. Атаман Семенов спасся, вылетев из Читы на аэроплане. Белые отходили, сжигая мосты, разрушая телефоны, уничтожая жезловые приспособления. На станции Дарасун амурцы захватили около десятка семеновских бронепоездов — это были главным образом американские углярки, перекрашенные в защитный цвет. Между рельс валялись пачки „голубков“ — ненужных никому семеновских денег. Двигаться на Читу не имело смысла и часть амурцев соединили с партизанскими конными отрядами забайкальцев, чтобы закрыть путь белым в Манчжурию.

Забайкальцы почти все были конными, более 40.000 насчитывал так называемый конный корпус Коротаева. Смуглые забайкальцы, стоя в казачьих седлах, чуть не бороздили ногами землю — до того малы и приземисты их длинношерстные монголки. Зато монголки необычайно неприхотливы — при суровой забайкальской зиме с свирепыми ветрами, свободно гуляющими по безлесным сопкам, в станицах нет конюшен. Как только партизан приезжал на взмыленной монголке в станицу, в лесной штаб, в сопочный полк, он обливал ее тотчас же холодной водой. Лошаденка покрывалась перламутровым ледяным панцырем. С концов лохматой, как у дворовой собаки шерсти, свисали свинцовые сосульки. Но монголке под этой корою уже не страшен ветер, мороз.

У партизан была своя артиллерия — несколько разнокалиберных пушек, в том числе и японские — системы „Орисаки“.

Партизаны любили „Орисаки“. Порой, когда начиналась стрельба, кто-нибудь из артиллеристов подбегал к монголке, выдергивал у ней из хвоста длинный волос и говорил:

— Погоди, паря зараза, мы наведем на них панику...

— А для чего? — интересовались амуры.

— Как для чего это? Волос в шимозу эту вставим и она, паря зараза, так зашвистит, что я ж те дам... Один за два...

Обвивали волос вокруг головки шрапнели, стреляли, старая „Орисаки“ без откатных приспособлений, подскакивала, как испуганная, снаряд летел и верно, казалось, что волос не сорвался, не сгорел, что снаряд свистит за два, особенно как-то угрожающе:

— Вжжжжжжж...

Чтобы указать размер поворота орудия, иногда командовали:

— На конский волосок левее!..

И орудие поворачивалось, „не нуждаясь“ в прицельных приспособлениях. Один из командиров жаловался, поправив на животе бинокль без футляра:

— Эх, паря зараза, если бы я дрови знал, один бы на Читу пошел, А то стоишь чуркой у пушки и не знаешь, чего скричать...

Многие командиры были из фейерверкеров, прошедших германскую войну — они отлично справлялись со своим делом. Прекрасное знание местности, безошибочное охотничье определение дистанции, беззаветная храбрость превращали партизанскую артиллерию в довольно страшное для противника оружие.

Один из отрядов зашел далеко в тыл отступающим. Уже где-то вправо глухо рокочут, как лягушки в весенней болотной пузырчатой воде, пулеметы, а еще дальше — лишь вспыхивают зарницы. Видимо там идет бой, но орудийных выстрелов не слышно.

По склонам желтеющих безлесных голых сопок намело снега, холодно ночами. Чтобы согреть чай, отряд жжет ящички из-под снарядов. Внизу на узкой, как лезвие, линии дороги, сдавленной сопками, дымят два семеновских бронепоезда — охраняют отходящие эшелоны. Бронепоезды медленно двигаются по линии, пушки смотрят на сопки.

— Ну, паря зараза, надо их прямой наводкой сшибить!..

Спешились партизаны, втащили пушки на сопку. Белые заметили, обстреляли. Некоторые из снарядов химические — разорвется он, а зеленый тяжелый дымок долго стелется по земле и чернеет, тает под ним снег.

Граната угодила в один из бронепоездов.

— Попали!.. Ей бо, паря зараза, попали!..

И зарубил ладонью воздух:

— Беглый огонь!!

Из бронепоезда вырвался огромный огненный язык, белый пар тянулся из паровозной трубы и под грохот взрывов видно было, как выскакивали из бронированных вагонов семеновцы.

— Коней!! — закричал партизанский командир и стучал от нетерпения ногой о мерзлую землю. — Коней!!

Не сводя глаз с бронепоездов, заскочил на монголку, куснувшую его за колено и, не попадая ногой в стремя, понесся с сопки на семеновцев. Обгоняя командира, слегка нагнувшись вперед, широко разведя руки, скакали партизаны и кричали что-то невнятное. Монголки, злобно дыша, рвались одна за другой, маленькие ноги их сливались, как велосипедные спицы в колесах.

— Ур-ра!..

Когда подлетели ближе и кого порубили, кого забрали в плен, то увидели, что разбит лишь один бронепоезд, но он, не дойдя до стрелки нескольких сажен; остановился и загорюдил путь второму, почти невредимому...

Белые все-таки прорывались в Маньчжурию. Сильные бои разыгрались под станцией Борзя, Даурия. Здесь белые бросили составы с своими беженцами. Наступала чрезвычайно холодная, ветряная зима. Белые прошли 86 разъезд и пересекли границу Китая.

На этих безжизненных полянах через девять лет снова загрохочут пушки...

Амурцы и забайкальцы остановились.

За месяц ликвидации „Читинской пробки“ было взято 16 бронепоездов, 37 орудий, 150 пулеметов, 10 самолетов и 60 невредимых паровозов.

— Домой или не домой? — гадали амурцы-ресефесерийцы, ожидая на станции Даурии — когда-то ставке палача Унгерна — своих эшелонов.

Были отпущены крестьянские обозы, которые, следуя за воинскими частями, возили снаряды, раненых, продукты. Подводчиков бойцы в шутку называли купцами. Купцам тоже приходилось очень круто — некоторые из них потеряли за это время коней, им выдали новых, другие уехали от родных хат за 500 верст.

Наступал 21 год.

Паровозы смотрели на запад. Амурцы двинулись по старому, только что завоеванному ими маршруту. Поезда шли очень медленно, не хватало топлива, станции разрушены. Ветер свистел неумолчно, казалось, что вот-вот, зацепившись как следует быть, он свалит под откос эти эшелоны с вечно накаленными печками в переполненных теплушках.

Иногда ночью поезд останавливался, дежурный по эшелону ходил и стучал ногами шашек по ребристым стенкам вагонов:

— Эй, вылазь! Горка. Никак взять не может!.. Вылазь, вылазь без разговоров!..

Бойцы неохотно выскакивали из теплушек и начинали толкать состав. Паровоз буксовал, но наконец под дружную напористую „Дубинушку“ сдавался. Тогда он кричал задорно, по-петушиному и, словно застоявшийся конь, набравшись неожиданной прыти, рвал резко вперед.

— Сади-ись!..

С нар падали котелки, винтовки на стенках раскачивались сильнее и еще долго мотались, как маятники.

Последним вскакивал на ходу дежурный, проверив веревочную сигнализацию, соединявшую теплушку с теплушкой. Порой загорались давно немазаные буксы, опять остановка — смена обжитого вагона. Засаленные, отполированные нары и чугунные печки обязательно перетаскивались в новый вагон.

Миновали еще так недавно грозно звучащие станции — Борзя, Оловянная, Китайский разъезд.

— Вот оттуда мы наступали...

— В тех, тех кустах стоял у них пулемет..

Кусты казались теперь совсем обычными, нестрашными и мало значительными и даже сопка, которую смог одолеть лишь танк, словно бы постарела и сделалась ниже.

Паровозы у составов шли без смены, их берегли, не отдавали, в случае чего ставили на них часовых. Паровозы все еще

смотрели на запад, но у Китайского разъезда они повернулись лицом к востоку — на Благовещенск.

— Рано, видать, домой...

Амурские, уже не безлесные, как в Забайкалье, сопки окружали составы. Откинув железные окна теплушек, можно было видеть золотоискателей китайцев около самой линии. Горит костер, угли краснеют, покрываются пеплом. Золотоискатель отгребает их и снимает оттаявший слой земли. На обнаженном холодном пласте он вновь разводит костер и, глядя на пламя, посасывая трубочку, свернув калачом ноги в синих штанах, сидит и терпеливо ждет, когда огонь сожжет дрова и размягчит хоть на вершок железную землю.

А холода набирали силу. На станции Магдагачи примерз у амурцев паровоз. Он ушел под снабжение к водокачке и пока вода лилась из гладкого обледенелого железного рукава, колеса, также слегка смоченные водой, примерзали к стальным, до необычайности звучным зимой рельсам. Довелось этот обледенелый, похожий на мамонта паровоз, откалывать, и плечами и руками бойцов толкать с места...

Так бойцы двигались на зимние квартиры в Благовещенск и Хабаровск, уже оставленный японцами.

Почти одновременно с наступлением амурцев на Семенова загудели паровозы и на станции Хабаровск. На этот раз уже действительно японцы эвакуировались. Еще в сентябре они прекратили интендантские заготовки, грузили в затоне базы Амурской флотилии на суда ценные, громадные запасы бывшей царской армии — станки, машины для отправки через Харбин и Николаевск на Амуре в Японию. В городе грабили вещи, паковали в соломенные жгуты мебель, обшивали рогожами рояли, пианино — это поедет в Японию через Владивосток. Но как ни грабили, как ни разоряли, все-таки кое-какое имущество могло попасть в руки „бурсавика“. Тогда японское командование приняло экстренные меры — с большими предосторожностями из аптечных складов были привезены огромные в плетенках бутылки серной кислоты. Ее японцы вливали в каналы орудий и устраивали сернокислотные потоки над частями дизелей. Жгли обмундирование, даже походные кухни спалили.

С первым снегом после ухода японских войск показались на улицах Хабаровска наши бойцы. Нейтральная зона в 30 км,

установленная японцами, должна была и здесь соблюдаться. Красные части не могли менее чем на 30 км приближаться к японцам. Японцы прошли станцию Иман и остановились на станции Уссури.

Наши бойцы сразу же начали приводить в порядок казармы. Подметали, чистили, всюду у печек валялись японские соломенные циновки — хорошая растопка. Бойцы взяли одну из циновок, достаточно уже растрепанную, затолкали в печь и чиркнули спичку.

— Погоди, — сказал один из бойцов. — Полную печку напихал. Разве будет тянуть?

— Откуда полную? — проговорил второй. — Всего два-три жгутика сунул...

— Два-три, а дверца не закрывается... Ну-ка погоди... Э-э... да тут что-то есть!.. Это видно японский гостинец!..

И он вынул орудийный снаряд. Крикнул старшину, осмотрели все печи — почти всюду стоймя, как поленья, были заложены в печах шрапнели и гранаты.

Инженерные части обследовали артиллерийские склады — они все оказались минированными..

КРАСНОЕ С СИНИМ

В Благовещенске войска расквартировались в казармах. К этому времени Дальневосточная республика — ДВР, образованная еще 6 апреля 1920 года на съезде в Верхнеудинске немедленно после его освобождения от японцев и Семенова, могла включить в себя и Забайкалье, и Амурскую область, и часть Приморья. Деньги в буфере ходили лишь звонкие царской чеканки — золотые и мелкие серебряные, стоявшие в три раза дешевле золота. Разрешалась частная торговля, на предвыборных объявлениях в Учредительное собрание списки коммунистов висели рядом со списками эсеров, меньшевиков. Красный флаг заменили сине-красным: на красном полотнище в левом верхнем углу был вшит синий лоскуток.

Дальневосточная республика, будучи по форме республикой демократической, служила интересам пролетарского государства, так как представляла буфер между окружающими тогда РСФСР многочисленными фронтами и интервентами. ДВР мешала японским империалистам захватить Дальвосток и угрожать непосредственно Советской Сибири. Выполнять эту роль ДВР могла лишь потому, что фактически всей ее политикой руководила компартия. Несмотря на свободные рынки, на свободу печати для буржуазии, власть оставалась всегда в руках коммунистов, поддержанных всеми трудящимися Даль-востока.

Армия, переименованная в Народно-революционную, по существу конечно оставалась также армией Красной. Много пришлось потратить труда военкомам, чтобы разъяснить бойцам о временности буфера, о сложности международной обстановки.

Перед поверкой пришел в казармы комиссар.

— Отставить, отставить, — замахал он руками на дежурного, который хотел скомандовать: „Встать“.

На цементном полу стояли в ряды кровати с тумбочками в изголовьях. Ложки уже были вынуты из-за голенищ, они лежали теперь в котелках, порой зеленых от плохо отчищаемой плесени. В углу, в стойке блестели винтовки. Комиссар направился к командиру и старшине, жившим здесь же при казарме в отдельной комнате. Комиссар ростом с винтовку без штыка, был „эшелонец“, привезен в „ползучем кладбище“, как называли эти страшные составы, наполненные здоровыми, тифозными больными, умирающими из сибирских тюрем. Мертвецов выбрасывали на ходу медленно двигавшегося поезда, пить давали редко и стук колес мешался с хриплыми стонами умирающих. В Чите в вагон, где на нижних нарах кашлял комиссар, вскочил семеновец с желтыми погонами, с нагайкой в руке. Папаха лихо заломлена на заросший кудрявыми черными волосами затылок. От него сильно пахло китайским спиртом-ханшином.

— За пирогами к нам приехали? — крикнул он и стегнул нагайкой одного из эшелонцев.

— Не смей его бить! Он больной, — хрипло сказал сидевший рядом с комиссаром рабочий с длинной отросшей в вагоне бородой. Семеновец несколько раз ударил его нагайкой, задевая рукавом шинели лицо комиссара. И долго потом дергалась щека комиссара, ощущая прикосновение семеновского рукава, в ушах стоял нагачный свист, перед глазами краснела кровь, она стекала на длинную бороду и склеивала мягкие волосы. В Никольск-Уссурийске комиссара освободили партизаны.

— Дежурный! Собрать людей на поверку! — высунулась из комнаты голова старшины.

— Становись на поверку!.. Вылетай пулей!..

Надевая на ходу ремни, застегивая крючки, пуговицы воротников, становились на привычные места.

— Равняйся!.. Смирно!..

— Производить переключку!..

— Абабков!..

— Я!

— И я!

— И я!

— Фофанов!

— И я!

— Слушать приказ: „За хранение под матрадом носильных вещей народоармейцу Иванову один наряд вне очереди“...

Бойцы толкали незаметно друг друга локтями.

— „За халатную чистку винтовки народоармейцу Егорову два наряда вне очереди“...

По окончании приказа командир скомандовал:

— Стоять вольно!..

Сразу подломились ноги в коленках.

— Сейчас будет говорить товарищ комиссар.

И отошел в сторону.

— Вот что, товарищи!.. Вы знаете, у нас теперь образована Дальневосточная республика, буфер, то-есть, по соглашению с Советской Россией. Пока что не ушли японцы. Называемся мы Народно-революционная армия. Ну, и вот теперь еще пришел приказ. Нам надо снять звезды, конечно временно и надеть вот такие угольники... Старшина, посвети-ка фонарем!..

Комиссар показал булавками приколотый на рукаве синекрасный ромб. На красном фоне всходило многолучевое солнце.

Комиссар держал полусогнутой руку, потом опустил ее и сказал:

— У каптенармуса и получите.. И наденьте временно, конечно...

— Сразу после проверки и получать! — крикнул старшина Молчали. Кто-то из второй шеренги сказал:

— Не хотим звезды снимать!..

— Совсем заездили, — подхватили другие.

— Тише, товарищи! — поднял комиссар руку.

— Чего тише? Сегодня углы, завтра кокарды...

И загалдели все сразу:

— Не снимать!

— Я ее в сопках носил!

— Придумали!

— А наряды за что? Я просил протирку, мне не дали!..

— Не снимать звезд!

— Смирн!.. — крикнул командир и, сказав что-то комиссару, скомандовал:

— Разойдись!

Окружили комиссара, словно собирались, как обычно, после проверки, петь. Но сейчас было не до пения.

— Теперь давайте рассуждать, — сказал комиссар. — Это же временно, товарищи.

— Не дело это, товарищ комиссар. Смотри что делается — деньги царские...

— А вон за дровами давеча ездили за Амур — там в Сахалине белые. Я знаю их — амурские есаулы у атамана Гамова были...

— Товарищи! — сказал какой-то боец. — Не в ногу мы все говорим, словно как по мосту, когда идем. Что вы думаете, комиссару меньше вашего о советской власти сердце гложет?..

Но его не слушали:

— Вон командирам синее сукно дали...

— Товарищи! — сказал комиссар. — Командиру служить, как медному котелку, а многих из вас не сегодня-завтра демобилизовать могут...

— А что, что слышно насчет демобилизации?.. — даже партизаны голос подняли.

Через несколько дней надели угольники и над двухэтажной кирпичной красной казармой с голубями, гнездящимися на пыльных чердаках, подняли красно-синий флаг.

На Амуре проплыл лед, полуголые бронзовые китайцы пилили скользкие бревна из пригнанных с верховьев плотов. Вечерами, когда затихала жизнь на плоских улицах Благовещенска, из Сахалина через Амур ветер доносил крикливые китайские голоса и лай собак.

В 1900 году во время боксерского восстания казаки утопили в Амуре массу китайцев. Они указывали им на Сахалин и говорили:

— Твоя ходи на ту сторону!..

И подгоняли их, погружавшихся в воду, берданочными выстрелами.

Народно-революционная армия изживала последние остатки некоторой послефронтовой разболтанности. Как и на Бире, широко была развернута культурно-просветительная работа. Народоармейцы часто ходили в театр, перед спектаклями выступал редактор „Амурской правды“. Он шагал по сцене, стучая большими солдатскими ботинками, сжимая и разжимая

кулак, словно выпуская невидимых птиц, и рассказывал о только что случившемся меркуловском перевороте:

— Японцы во Владивостоке разоружили нашу милицию и силой своих штыков посадили новых правителей-авантюристов, братьев разбойников Николая и Спиридона Меркуловых. Это правительство до владивостокского предместья „Гнилого угла“ целиком подчинено японцам. Японцы опять привезли было из Порт-Артура во Владивосток атамана Семенова, который к сожалению спасся от ваших штыков, но консульский корпус не согласился допустить на берег палача. Японцы хотят в противовес нашему красному буферу создать свой черный буфер. Меркуловы уже послали в Европу депутацию к Романовым — просить их приехать к нам на Дальний Восток и царствовать, так мы все соскучились о них.

Обождая когда утихнет смех народоармейцев, вынимал из кармана скомканный номер газеты:

— Поднимается и еще один палач. Последние телеграммы говорят о выступлении барона Унгерна. Барон, укрепившись в Монголии, в Урге, делает теперь набеги на Прибайкалье, грабит, убивает мирное население и разоряет все на своем пути. Барон вот издал манифест, в котором пишет, что Семенов, поддержанный японцами, выступит скоро со станции Уссури... Товарищи! Мы должны быть на-чеку, палец держать на курке. Возьмем же на мушку атаманов и баронов!..

Вскоре после Дайренской конференции — Япония потребовала тогда от ДВР разрешения свободного плавания японских судов по Амуру и отказа строить какие-либо укрепления в Приморье — семено-каппелевцы, докатившись во Владивосток из Манчжурии, получили от японцев оружие и двинулись в поход на Хабаровск.

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

Незадолго до наступления белых в частях Народно-революционной армии произвели демобилизацию старших возрастов. Молодая республика, воспользовавшись мирной передышкой, отпустила пахарей на поля — ушли без винтовок в сопочные деревни партизаны, поезда увезли на Запад уроженцев РСФСР.

Армия сократилась значительно и численно — в казармах свободны решетки кроватей, около конюшен желтеют вороха соломы из похудевших матрацов. Молодые народоармейцы последнего призыва составляли теперь вместе с такими же молодыми младшими командирами, неуспевшими еще завоевать авторитета, главную часть армии. А строевым занятиям сильно мешали всевозможные гарнизонные наряды, усиленные, благодаря пограничной полосе, посты. Народоармеец лучше владел может быть штыком, нежели мушкой. Продовольственное снабжение ухудшалось.

Лошади все чаще и чаще „читали газеты“ — смотрели на пустые ясли, грызли, как зайцы, зазубренные края кормушек. Бойцы протыкали новые дырочки на подпругах и поясных ремнях — кормили плохо: кета, каша, каша, кета, чай. Артиллерийские кони получали норму строевых, не хватало овса, бойцы шли из фуражника, размахивая легкими торбами, кони мягкими губами долго выбирали в торбах последние овсинки.

НРА была разбросана по всей обширной ДВР. У белых же был в Приморье отличный боевой кулак с старым кадровым, много раз обстрелянным командным составом. Уфимцы, пермяки, башкиры, воткинцы, ижевцы, волжане, очутившись на берегах Тихого океана, представляли собою тесно спаянную ватагу, которой некуда дальше бежать.

Японские гарнизоны на станциях Свиягино, Спасск, Пограничная, Никольск-Уссурийск получали зимнее меховое обмундирование, хозяйственно конопатили стены, закрывали тяжелыми мешками от порывов ветра и внезапных, как тайфун, партизанских пуль посты часовых у мостов с бочками для воды, у складов, приподнятых до уровня вагонного пола, у высоких водокачек, похожих на китайские кумирни.

Десять тысяч белых составили так называемую „Белоповстанческую добровольческую армию“. Белые, забирая у крестьян молоко, яйца, хлеб, расплачивались за все японскими иенами:

— Получай, ховяин!

— Да нет, что вы, что вы!.. — отказывались сначала крестьяне, непривыкшие к такому обращению со стороны белых.

Но офицеры настаивали:

— Нет, нет, пожалуйста за все сполна получайте! И за сено, и за молоко, и за яйца, и за хлеб...

— Да уж за хлеб-то чего платить! Одну, там, горбушку может съели... Также и молоко... Только что чай забелили...

Все еще крестьяне опасались какого-нибудь подвоха. Бабы незаметно толкали мужиков локтями, щипали: бери, дескать, дурак.

— Мы отобьем вместе с японцами красных, вам будет хорошо жить, — обещали неоднократно белые.

Эшелонируясь вдоль железной дороги, по времянке, шли, ехали, пели:

„Прощай, Самара, городочек...
Цимля, ля. Эх, цимля, ля!
Прощай, Струковский садочек...
Цимля, ля. Эх, цимля, ля!
Мы придем, как вскрыет Волга.
Цимля, ля. Эх, цимля, ля!“

Даже отступившие с Колчаком от Уфы наиболее зажиточные уфимские татары — „уфимска стрелка“, поднимаясь из-за стола, крестились, кто справа налево, кто слева направо на угол, где висели потемневшие иконы с растрескавшейся давно краской.

— Чего лоб крестишь? — удивленно спрашивали бабы, сметая со стола кости, крошки, картофельную шелуху. — Ведь ты, Махмед, не нашей веры?..

— Так приказано, — отвечал, скрипя резиновыми сапогами, простодушно „уфимска стрелка“. На ногах у всех „белоповстанцев“ были резиновые сапоги американского изделия, в руках — оружие, полученное от японцев.

Но пригока добровольцев в „Белоповстанческую армию“ все-таки не замечалось. Приморские крестьяне, спрятав куда потайнее деньги, качали меж собой головами:

— Сулят они нам все из-за японских спин. И опять же платят за все японскими иенами. А японец даром иен давать не будет. Не будет...

И старые амурские казаки, не особенно долюбливавшие советскую власть, говорили белому партизану полковнику Илькову:

— Не накликал бы ты на нас беды...

И, заложив за спину руки, отказывались от протянутого оружия.

Бронепоезда — „Болжанин“, „Дмитрий Донской“, „Каппелевец“, слегка замаскированные сеном, двигались на север мимо японских часовых. Наши представители заявляли протест, указывая на бронированные борта этих „сенокосителей“, но японцы как всегда отвечали:

— Японскому командованию ничего неизвестно...

Белые ударили по нашим весьма малочисленным передовым частям, и, не дав им даже взорвать мост через Уссури, сжимая смелыми атаками фланги, заставили в беспорядке отходить на север. Оборонительные линии с ледоставом, когда замерзли реки, болота, — сюда на лыжах можно пройти по лесу, — потеряли свое защитное значение. Упоенные неожиданной победой, решительно маневрируя, образовав подвижные конные партизанские отряды, зажигавшие непрерывно у нас в тылу мосты, белые писали уже на знаменах:

„Вперед на Кремль!“

А уфимские стрелки, подтягивая вечно сползавшие резиновые сапоги, кричали:

— Бросай бинтовка!..

И видели, если не стены Московского Кремля, то наверное уже узкие уфимские минареты мечетей.

Хабаровск не успевали эвакуировать, железнодорожная переправа через Амур по еще неокрепшему льду провалилась, вагоны медленно перекатывали на руках, на левом берегу

Амура тотчас же возникла пробка. Решено было взорвать склады боеприпасов и часть судов Амурской флотилии.

Ранним декабрьским холодным утром НРА отступила из Хабаровска. Ветер мел по Амуру снежную колючую, словно крапивой разедавшую лицо пыль. Скрипят орудия на льду, вот остов сгоревшего вчера самолета, все также разломан мост. Кружится иней на лошадях, бойцы молчаливы, не оглядываются на высокие холмы, среди оснеженных деревьев которых чернеет бронзовый Муравьев-Амурский. Остановились в деревне Владимировке, где более года назад дали такой победный бой японцам. Бойцы греются у костров, солнце далекое, холодное, равнодушное, пламенеет без тепла, как нарисованное на картине.

Комфронта — на Бире, три начальника боевых участков, взаимно неподчиненные друг другу, остались без единого руководства. Сторожевое охранение велось кое-как, часовые, не выпуская винтовок, подставляли лицо кострам, а спину — врагу. Многие из комсостава, сняв полушубки, ожидали по изабам, когда поспеет ячница-глазунья. Телефонист не спеша „крутил шарманку“, „разлуку“, сматывал провод, лежавший на снегу и подвешенный на шестах. Около колодца, с вдвойне скрипучим зимой журавлем, он заметил сквозь дымный туман смутные фигуры каких-то конных и пеших. Это были белые. Не встречая выстрелов сторожевого охранения, они полагали, что деревня давно уже оставлена и шли спокойно, даже не развернувшись в боевой порядок.

— Резиновые сапоги, — прошептал телефонист, рассмотрев, наконец, черные ноги, и замер с зеленой катушкой в руках.

— Бросай бинтовка!..

Выстрел... Пулеметы. Точно в костер подкинули соснового сухостоя и вот он трещит, никак не минаясь с охватившим его огнем.

Выскакивают из домов, надев полушубок в один рукав, выплескивают кипяток из котелков и, не видя врага, бегут в лес...

Машинист не прицепил паровоз к платформе с орудиями, лезут на тендер, обрываются, кто-то сел на прицепной крюк, другие, схватившись за вещевой мешок, стаскивают счастливец.

— Бросай бинтовка!..

И кажется, что все, все пули только летят в тебя, холодеет сердце уже не от мороза, а от страха. Эх, добежать бы до того леска!

Так и мчались, глубоко вдыхая морозный воздух, оставив противнику холодные орудия, теплые ячницы, винтовки, горячие костры и неожиданную победу. Среди этого дикого паводка шагал комиссар одного из полков, руки засунуты в нагрудные карманы, повод продернут за локоть. За комиссаром — также со спешенными конями — команда разведчиков.

— Ах, бараны!.. Ах, бараны!.. — качал головой комиссар.

В первую же полуказарму он вошел и, сдернув папаху, сел за стол, снял с левой ноги натерший мозоль сапог. Вскоре кто-то повесил над полуказармой красный флаг, над окнами прибили доску с надписью углем: „Штаб“, к штабу завернули подводы с ранеными, писарь вступал на машинке. Комиссар решил взять на себя инициативу. Быстро сколотил народоармейцев в два сводных полка, старшины, комвзводы переписывали новых людей, номера винтовок, назначали дежурных, часовых, подчасков.

Бойцам стыдно было смотреть друг другу в лицо. Говорили тихо и редко. Только отставшие из-за слабосильности, из-за размотавшейся обмотки, приходя последними, смеялись громко на правах героев:

— Ловко вы это!..

— Зайцу не догнать. Нет, зайцу не догнать...

— А их и близко нет.

К вечеру полки уже не спеша, без паники отошли на станцию Ин. Глухо гудел телеграфными проводами приказ фронта:

„Паническое бегство частей Восточного фронта после отхода от Хабаровска приписываю всецело командирам и комиссарам этих частей, не сумевшим организовать оборону вверенных им райчастей, не сумевшим железной волей, примером личной выносливости, храбрости и беспощадного наказания, остановить бегущее, как стадо баранов, войско от появления отрядов белогвардейцев. Бежали целые части во главе с начальниками боевых участков. В данный момент, благодаря бегству, войска потеряли большую часть ценного военного имущества, в животном страхе бойцы бросили оружие, пулеметы, снаряжение, патроны и т. д. Все, что накопилось в армии путем

побед над врагами советской власти в течение долгих лет в один момент потеряно без одного выстрела в сторону противника“.

Но как всегда в тяжелые минуты республика получала мощную поддержку от широких трудовых масс. Правительство ДВР и Дальбюро ЦК РКП(б), обратившиеся к населению с призывом защищать республику, нашли горячий отклик. Были созданы коммунистические отряды, из Читы отправлялись подкрепления, на фронт выехал главком Блюхер.

ПЕРЕЛОМ

Леденящее дыхание холодного утра 28 декабря 21 года казалось заморозило даже пушки. Они неподвижно застыли на Инской площади, зеленея, как куча свежих, только-что срубленных еловых веток. Дым из труб, теряя едкую теплоту, сливался с туманом и окутывал весь поселок плотным маревом. Необычайно тонко хрустел снег, словно в оркестре настраивали разноголосые скрипки или рота брела по битому стеклу, или колеса обоза шуршали по мокрому песку. До пушек страшно коснуться — накаленная стужей сталь обжигает огнем. Лошади злые, голодные, порой неразнузданные, привязаны за расшатанные, кое-где уже почти вырванные плетни. Снегом белеют меловые надписи на воротах — номера частей. В домах стеснились бойцы, свалив в углы мешки, винтовки, котелки.

Телефонисты перематывают с катушки на катушки запутанный в поспешном бегстве провод, кто снял ботинок, разминает ноги с водяными мозолями.

— Вот бежали, так бежали!..

— Больше не побежим...

Молчат. Кошка лапой тронула скатившуюся с плиты картошку.

— Больше не побежим, — сказал решительно наредоармеец, растирая ложкой в котелке картофель. — Из Читы, слышал, подмога идет...

— Ясно должна итти. Не нам все гонять одним...

— В Чите у них солдаты ой, ой... Советские. Может из-под Омска или откуда. Которые еще и Колчака били..

— Хозяюшка, молочка нет в картошку?

— Да буде тебе. Как не совестно, право!

— Милый, рада бы... Коровку к зятю угнали, боимся как бы пугей не убило...

— Нет, теперь с читинцами вместе пойдем. Хвост белым, пожалуй, не покажем,—сказал боец, вычистив винтовку и ввинтив шомпол.

На станции попыхивая остановился бронепоезд—паровоз с полукруглой, как свод тоннеля, броней. Вагоны обшиты стальными листами—пули свинцовым ногтем часто уже чиркали по кольчуге, сбивая краску и вдавливая косо неглубокие ложбинки. Тендер наполнен целыми поленищами дров. Под шагами часовых железные листы платформ издают дребезжащий шелест, с орудий сняты чехлы.

Где-то на конце улицы (летом старик пастух располагается там со своим стадом пестрых коров и телят) точно сломался сучок дерева—выстрел. Затем, словно ветер сломал дерево и оно с журчащим грохотом повалилось на землю, теряя с droгнувших ветвей клочья снега, изрезанного отпечатками вороньих и галочьих ног,—пулемет.

Из домов вылетают бойцы—кто без патронташей, кто дрожащими пальцами, не поднимая вверх стволы винтовок, совал обоймы. И уже совсем близко около станции, около самых полуказарм, опять:

— Бросай бинтовка!..

И может быть кой-кто и бросил бы еще, но в это время громко, сильно, властно, разрывая пелену тумана, сотрясая морозный воздух, заревели пушки бронепоезда и застучали торопливо его пулеметы.

— Вперед, товарищи!—сколоченные цепи разных частей вразброд, подравниваясь на-ходу, двинулись к станции под ободряющий грохот бронепоездных орудий.

— Бросай бин...

— Вперед, товарищи!.. Цепь вперед!..

Как-то сразу раскололось неверие в свои силы, отлетели последние остатки малодушия, оглядки назад, в уме держали бодрую, хмельную мысль о читинских резервах. Победа пошла в ногу с нашими передовыми цепями. Белые стреляли все реже и реже, окружившие станцию Ин отряды генерала Сахарова были уже сильно утомлены долгим ночным по амурским снегам переходом и физически не могли конечно сравниться

с нашими бойцами, только что покинувшими теплые избы. Белые начали отступать к разъезду Ольгохта, оставляя прикурнувшие у плетней, у заборов, у бревен замерзшие мраморные трупы своих солдат с окоченевшими у курков пальцами. Наши цепи с криками „ура“, разгоряченные, забыв о холоде, преследовали сахаровцев и даже казалось, что на лицах бойцов и командиров таяли резкие морщины—так разглаживаются на ходу морщины с мятых мокрых шинелей. Говорили уже громко, весело:

— Он крикнул „бросай бинтовка“, как я его...

— Вот тебе и „бросай“!..

К вечеру в тылу около станции Ин снова раздались резкие, но одиночные выстрелы—Камский полк с командиром Сотниковым, делаая глубокий обход, опоздал и подоспел лишь с закатом солнца. Бронепоезд метнулся на выстрелы. Бойцы, откидывая ногами катавшиеся по платформе пустые гильзы, заряжали еще мало остывшие орудия. Полковник Сотников был убит одним из первых. Камцы рассеялись в лесу, тяжело волоча резиновые сапоги с голенищами, полными снега. Сахаровцы при звуках выстрелов попробовали атаковать станцию, но тотчас же были отбиты огнем пулеметов, винтовок, их держали теперь уже руки бойцов, окрыленных победой.

В течение нескольких дней бои велись на линии железной дороги. Несмотря на холод, на тяжелые потери, на дневки и ночевки в снегу, молодые бойцы твердо знали, что они могут громить каппелевцев. Каппелевцы поспешно укрепляли район Волочаевки, решив дать здесь горячие бои и не пропустить наших к Хабаровску. Первое наступление на Волочаевку окончилось неудачей—еще слабы были силы. Наша батарея, бронепоезд и Читинский полк заночевали на разъезде Ольгохта. Как всегда, окружая единственную полуказарму с разбежавшимися железнодорожниками, блестят цепи костров. Около убитой артиллерийской лошади с протянутыми к небу, деревянно замерзшими ногами толпятся с ручными пилами артиллеристы, пилы хрустят, дойдя до кости. Пехотинцы стоят поодаль, просят:

— Батарейцы! Дайте и нам мяска похрюпать. Одолжи пилку!..

— Свою займей!..

— Да у нас пил нету... Вам хорошо, вы в телефонной двуколке все возите.

— Значит ожидай своего череду...—говорит артиллерист, отпиливая кусок крупа лошади. Конь и в самом деле похож на деревянную детскую лошадку—уже оторвали любопытные ребята покрытые телячьей шкурой ноги, уже ножом вспорото брюхо и клочья сухого сена падают на пол. Бойцы строгают мясо ножами и жарят его в пустых патронных коробках.

— Батарейцы! Пилку-то, освободилась ведь...—говорит пехотинец с завязанными мешком ногами.

— Сейчас, только еще хлеб распилим.

Буханки хлеба рубят шашками, но это невыгодно—слишком много кусочков летит по сторонам и пропадает в снегу, хлеб пилят на ломти, зубы ноют, раскусывая их, и безвкусные обломки тают во рту, как мороженое. Жжет губы красная соленая кета, целыми котелками пьют потом бойцы недокипяченую с хвойными иглами воду.

— Каптер, третьему взводу хлеб выдавали?

— Выдавали,—отвечает каптер, сидя на крестьянской подводе с укрытыми рогожами хлебом и серебряными тушками кеты.

— А где же мне? Я в карауле был...

— На наряд оставлен. Получай сразу на троих.

— Да я один.

— Значит на три дня...

Боец пробует откусить корку, но зубы не прокусывают и боец прячет хлеб за пазуху. Отогреваясь хлеб по-змеиному внобит грудь.

Около высокого костра сидят на корточках, лежат батарейцы. Артиллеристам легче в походе, чем пехоте. Вот и костер у них пышнее, богаче, горячее—подбросили расколотые красные ящики из-под гранат, а пехотинцы рядом, касаясь подбородками снега, раздувают еле тлеющий огонек из набранных в леске веточек.

— Эх, осина, что не горит без керосина!..

— Ибрагимов!—кричит один из батарейцев, держа, как порцию на кухне, на лучинке кусок сваренного в оцинкованной коробке конского мяса.

— Я...—отвечает голос ездового Ибрагимова. Ездовой приближается к костру с соломенным жгутом в руках. Нагайка, как шашка, хлопает по правой ноге с деревянным наколенником.

— Поешь маханину... Твою „Стрелу“ доедаем!..

— Чего привязался?—говорит Ибрагимов, поворачивается и медленно идет к лошадям, привязанным за решетку палисадника.

Сегодня утром убили коня „Стрелу“, на которой ездил Ибрагимов. Ибрагимов очень любил лошадь. Когда он оставался в ночную смену дневальным по конюшне, то перед „Стрелой“ всегда лежали неиссякаемые охапки сена. Когда „Стрела“ фыркала, раздувая ноздри, Ибрагимов говорил:

— Будь здоров! Рости большой...

Он нередко таскал с кухни соль и подсыпал ее для аппетита в овес в торбу. И вот сегодня пулемет прострочил „Стрелу“, она сначала, натянув постромки, рванулась вперед, потом упала с храпом на снег, дергая окаменевшие ноги, медленно остывала у ней потная почерневшая спина. Ибрагимов снял седло с меховыми английскими стремянами. Ему дали новую лошадь, он подогнал подпругу и молча чистил сейчас соломенным жгутом освещенного с одного бока гнедого коня. А от „Стрелы“ уже оставалась какая-то несуразная бочка—туловище с обглоданными ножами, шашками, пилами ребрами-обручами, да с канатами-кишками, скрытыми внутри.

Костры пылают, пылают, тени от деревьев на снегу от огненных косм подвижны, словно и они замерзли, как бойцы, и приплясывают сейчас, охваченные холодом. Костры такие же горели на всех войнах. И в восемьсот двенадцатом окружали их с отмороженными носами и ушами наполеоновские солдаты, и в пятом году, подбросив в ненасытный огонь гаюляна, сидели у манчжурских костров русские солдаты, и в шестнадцатом году у Пинских болот, освещая полуразрушенные фольварки, блистали все те же костры с „крестоносцами-ополченцами“ возле.

Костры были те же, но люди теперь другие. Бойцы впервые знали наконец, за что они льют на снег свою кровь. Их отцы карабкались под огнем на голые манчжурские сопки, их деды, словно гатью, мостили своими трупами дороги к Шипке, возвращались обломками к разрушенным избам под начальство станового и урядника. Царь награждал героев шапкой—долго носили солдатскую фуражку, волоча деревьяжку-ногу.

И только сейчас бойцы начали воевать за свою власть.

— Рабоче-крестьянскую,—как часто говорили военкомы.

И это бойцы знали твердо, это влекло их вперед сильнее всякой товарищеской дисциплины.

Пехотинец в козлиной папахе в который уже раз выворачивал карман, выскивая в швах крошки табаку, натряс все-таки какую-то пыль, перепутанную с крошками хлеба, натер меж ладоней березовые, похожие на бабочек желтые листья, набил всей этой смесью ловко сверченную цыгарку, закурил от горящей палочки и затаился, закрыв глаза.

— Сорок,—сказал боец, стоявший у костра, лицо его было темно, ноги ярко освещены. Это значит, что он просит оставить половину цыгарки. Курильщик недовольно поморщился, быстро затаился еще два раза под ряд, не нарушая законов заявки „сорок“, оторвал слюнявый конец и подал окурочек бойцу.

Его сосед ожесточенно чесал патроном волоса:

— Вот кусают... А я знаешь, счету даже со вшей выучился. Бьем на отдыхе, когда их ребята считают и я считал. Так до ста разучил, а прежде только что вот сколь пальцев знал...

— А китайцы с ними хорошо воюют,—сказал боец с помо-роженным лупившимся носом.—Я хунхузов этих видел. Так они что. Спят на медвежьей шкуре. Каждый такую шкуру носит и вша бежит от медведя, не выносит его запаха.

— Врешь?..—спросил кто-то, слушая этот рассказ сквозь дрему.

— Вот те и врешь... Посудкин! Сгоришь, дьявол!..

И боец толкнул рябоватого пехотинца, он спал, щеки у него раскраснелись, а шинель со спины дымилась.

На рассвете белые применили свой излюбленный врасплошный обходной маневр—сторожевое охранение столкнулось с офицерскими цепями, они были одеты в халаты и потому мало заметны. Стаи пуль, как майские жуки, засвистали около костров. Бойцы вскакивали, хватались за винтовки, не замечая врага.

— Туши костры-ы!..

— Туши костры... Туши костры... Туши костры...—забормотали испуганно все, закидывая снегом шипящее пламя. Но офицеры уже правильно выбрали прицел—пули рвали белый дым заглохших костров, пулеметы стучали с севера, юга, с запада и востока. Ржали раненые лошади, в темноте нарастала паника. Командир полка передавал в штаб на станцию Ин:

„Окружен со всех сторон. На бойцов не надею...“

Офицер в халате шашкой обрезал телефонный провод, висевший на кустарнике. В тылу огромным костром занялся мост.

— Отрезаны!.. — крикнул кто-то.

— Вперед, господа!.. — слышалось между деревьев. — Волжане, вперед!..

Бронепоезд, стреляя на ходу, мчался к ярко освещенному мосту, а четыре орудия нашей батареи, поставленные быстро в карре, открыли картечный огонь, расстреливая тотчас же упавшие на снег цепи белых. 260 пуль, эти горсти раскаленного свинца, взметая до черной земли снег, с визгом летели в лицо белым. Пламя разрывавшихся в 300 шагах шрапнелей, освещало орудия.

— Огонь!.. Огонь!.. Огонь!.. — командовали у пушек нерастерявшиеся батарейцы и рев выстрелов уничтожал слова команд.

Пока номера подавали снаряды, совсем близко раздавались крики белых:

— Ура!.. Воткинцы!.. Передайте капитану по цепи...

— Огонь!..

И снова резко сотрясают воздух пушки, под выброшенными горячими гильзами таял снег. Атака белых захлебнулась, утопая в снегу, они начали к утру отходить. На снежной поляне осталось несколько цепей. В матросских бушлатах они лежали среди сломанных картечью ветвей деревьев и замерзали. Раненые не могли разорвать зубами индивидуальные пакеты. Отбросив винтовки, остатки офицерских рот, увидев наших бойцов, мычали побелевшими губами:

— Товарищи, спасите!.

Стены Кремля, минареты Уфы, поместья, усадьбы, дворцы, власть — неудержимо отодвигались от них все дальше и дальше.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПЕРЕКОП

На маленьких вокзалах станции Ин, Биры рядом с пожелтевшими пока еще несвоевременными расписаниями поездов на Хабаровск цветут новые плакаты:

„Хабаровск должен быть красным“! „Волочаевка должна быть нашей“! „Привал на Имане—отдых во Владивостоке“!

Мало похожие на плакатных чистеньких, туго подпоясанных народоармейцев, бойцы с утра до вечера занимаются. Рассыпаются цепи, под свисток перебегают звенья, льдинками блестят клинки кавалеристов, на бронепоезде чистят орудия. А серебристый столбик ртути за окном больницы сжался со всем от холода, остановился на цифрах — 45.

Народно-революционная армия готовится к взятию Волочаевки и укрепленной зарослями железного колючего шиповника крутой и высокой сопки Лунка-Карани.

Партизаны налетели ночью на хабаровский штаб генерала Молчанова и хотя отступили с большими потерями, но оттянули кое-какие силы каппелевцев от Волочаевки.

Белые придавали огромное значение Волочаевке. Вот что писал генерал Молчанов в приказе, захваченном у ординарца нашим партизанским разъездом:

„Совершенно секретно.

Начальнику отрядов 1, 2, 3, 4, 5. Генералу Никитину, Вишневному, полковнику Черкес, подполковнику Березину.

По всем данным противник в ближайшие дни перейдет в наступление. Самое уязвимое место для нас—Тунгузское через Архангельское, Ново-Никольское на Покровку.

Совершенно безопасное направление по железной дороге, благодаря укреплению позиций сильными проволочными заграждениями и снежными окопами. На Амурском направлении повидимому противником будет брошена кавалерия.

После осмотра частей на ж. д. и Амурском направлениях я уверен, что противник должен иметь для овладения городом Хабаровском не менее 10 000 штыков, но для успеха нашего нам необходима, как никогда, стойкость, дабы, сидя за проволокой, нанести противнику наибольшие потери и, выбрав удобный момент, перейти в контратаку и на плечах противника продвинуться сто верст, которые нам необходимы для закрепления в районе Хабаровска.

Вопрос самого нашего бытия требует полного напряжения всех сил для достижения победы. С победой—мы живем, неудача может лишить нас самого бытия как антибольшевистской организации.

К вам, старшие начальники, я обращаюсь с призывом вдувать в сердца подчиненных страстный дух победы. Надо поговорить со всеми и наэлектризовать каждого солдата. Если вы займетесь этим немедленно, будете так поступать всегда, боеспособность наших маленьких частей увеличится в несколько раз. Учтите психологию каждого воина. Я убежден, что мы еще можем нанести противнику такое поражение, что он долго не придет в себя. Победа в нас, в начальниках, победа нужна и должна быть. Строгий расчет во всем, в каждой мелочи. Не покладая рук, закрепляйтесь, промеряйте, пристреливайтесь, но этого мало — внедрите всем, что проволоку бросить ни в коем случае нельзя.

Каждый воин должен знать, что этот бой будет решительным и мы должны выйти победителями. Обратите особое внимание на правильное и своевременное использование огня пулеметов и артиллерии; не забудьте, что ручные гранаты тоже нужно будет использовать. Отнеситесь к моим словам со вниманием, не теряйте времени, говорите с подчиненными—не только с офицерами, но и нижними чинами, помня, что не каждый офицер передаст так, как нужно. Только при выполнении условия, что каждый воин будет знать свой маневр, можно быть уверенным в успехе.

Я отмечаю титаническую работу полковника Аргунова и чinov 2, 4 и 5 отрядов за своевременное и отличное укрепле-

ние Волочаевских позиций, но благодарить за это не мне: этого было бы слишком мало. Сознание выполненного долга перед Россией выше всяких похвал.

Генерал Молчанов“.

Главком Блюхер решил вести наступление на Волочаевку почти „в лоб“, лишь с небольшим обходом. Глубокие снега мешали длительным охватам, нередко, как это случалось с белыми, части отставали, ударяли одновременно и наши бойцы по очереди разбивали один отряд за другим.

... Полки пошли в наступление. Плохо одетые, в рваных ботинках, кое-как штопанных полушубках, с замотанными тряпками руками, бойцы тянулись по дороге, скрываясь за ее поворотом, уже обстреливаемым бронепоездом белых. Вот скрылись и последние санитары со свернутыми, с высохшей кровью брезентовыми носилками.

Танк, кланяясь на невидимых ухабах, тарахтел рядом с линией железной дороги. Он преодолел проволоку и ворвался в Волочаевку, но прямым попадением бронепоезд сбил его.

А полки, развернувшись в боевой порядок, вытаптывая снег, непоколебимо приближались к проволоке. Телеграфисты, стоя за паухой аппараты, тянули провод. Огонь белых выжигал целые звенья из цепей. Спускался вечер. Цепи короткими перебежками придвинулись к подножию сопки Лунка-Карани и залегли, утомленные тяжелым переходом и губительным огнем перед проволокой...

Штаб начальника нашей ударной группы—командира сводной стрелковой бригады—расположился в землянке в нескольких верстах от Волочаевки. Землянку сверху до низу замело снегом и полковые ординарцы не отыскиали бы ее, если бы не прерывистое ржание лошадей, да мерцание кое-где чуть белевших от мокрого снега огоньков-костров с бело-черными кучками вокруг—бойцами резервного полка.

Дверь в землянку беспрерывно открывалась и закрывалась и за нею сразу же вылетало, поднимаясь вверх, облачко освещенного снизу пара. Землянка до нельзя была набита людьми, по ним, людям, ходили, топтали их, но они не обращали на это никакого внимания и свившись в какой-то хаотический узел, спали и храпели часто с носком чужого ботинка у рта,

наполняя землянку удушливым запахом человеческих испарений.

Около свечи, тускло светившей сине-желтым язычком, и походного брезентового столика на каком-то чурбанке сидел комбриг—рыжеватый, с веселыми голубыми глазами, в солдатской расстегнутой шинели, в старой офицерской барашковой шапке, задранной на затылок.

— Ну что, есть связь?.. — поминутно спрашивал комбриг у телефонистов.

На земляном столе, видимо бывшем раньше печкой, рядом с воткнутой на лучине свечой, держали трубки у рта телефонисты и беспрерывно нажимали пищики:

— Пи... Пи... Пи... Пи...

От аппаратов тянулись провода, цепляясь за черный земляной потолок.

— Вятка... Вятка... Тула... Тула... — кричали телефонисты, вызывая полковые станции и окликая их условленными городами.

Телефонисты встряхивали, продували трубки, прикрывали ладошкой сетки трубок:

— Тула?.. Тула?.. Тула?.. Тула?.. Тула, да?

— Что, наладили связь? — повторил комбриг.

— Тула, да? Тула?.. Тула?.. Нет, товарищ командир, ничего не слышать... Егоров, иди проверь линию...

— Не порвите там провода! — закричал Егоров вошедшим. Боец, весь засыпанный снегом, с нагайкой через плечо, нагибался больше, чем надо. За ним—двое с винтовками, третий—посредине безоружный.

— Кто тут будет товарищ командир? — громко спросил с винтовкой.

— Я, — ответил комбриг.

Бойцы подвели к комбригу, держа под руки, третьего с завязанными глазами. Он спотыкался о лежащих и поднимал высоко ноги, как слепой.

— Это, товарищ командир, ихнего пленного товарищ Блюхер послал. К ним значит отправить. С письмом вот.

Комбриг посмотрел на адрес, пробежал глазами сопроводительную и взглянул на пленного. Серая шинель, еле заметные, нарисованные химическим карандашом погоны, белая козлиная папаха, красные от холода руки.

« — Чего вы ему глаза завязали? Снимите повязку. Тут в двух шагах ничего не видно, а они его забинтовали.

Белый тяжело дышал, глотая воздух, как воду, стоял, щурясь на свет, на лбу багровел след от повязки, и не зная куда ему деть руки, встал наконец на вытяжку.

— Чего это такое? — спросил просыпаясь начштаба, крепко прижимая к груди большую полевую сумку.

— Да вот товарищ Блюхер в последний раз еще делает попытку решить мирным путем Волочаевскую задачу. Едва ли только генералы согласятся на это...

Письмо было составлено в очень сдержанных миролюбивых тонах, его цель была одна — сохранить жизнь тех бойцов, которые ползли сейчас к проволоке. Письмо гарантировало неприкосновенность всем, добровольно перешедшим на сторону НРА. Даже американский корреспондент признавал потом в Пекинской газете, что „письмо взывало к национальным чувствам генерала Молчанова“.

— Какого полка? — спросил комбриг.

Белый вадрогнул, быстро заученно ответил:

— Отряда полковника Черкеса.

— Давно попали в плен?

— Никак нет. Сегодня утром.

— А, это вас семь человек забрал наш разъезд?

— Так точно.

— Вы знаете, что вам придется сделать?

Белый приложил руку к папахе:

— Так точно, мне говорили в штабе...

Телефонисты кричали:

— Четвертый кавалерийский!.. Четвертый!..

— Не называйте там частей!.. Значит так. Мы доведем вас до передовых застав и вы передадите это письмо генералу Молчанову...

Часовые пропустили белого в дверь. Телефонист радостно сказал:

— Товарищ командир! Есть связь с полками...

— А, давай, давай, давай... Шестой?.. Давай комполка...

В землянке стало тихо.

— Комполка? Ну, как? Лежат? Эх! Много обмороженных. Постараюсь выслать... Как только мост поправят — сейчас же пройдет бронепоезд... Да, да...

— Лежат?—спросил комиссар бригады.

— Лежат... — сказал комбриг. — Моровище такой, а цепи лежат.

Комиссар бригады вышел из землянки. Уже светало. У костров отогревались только что привезенные на подводах раненные. Пропитанная кровью марля, как ржавые шлемы, облежала их головы. словно ребенка, прижимали они осторожно к груди толстые забинтованные руки. Они вспоминали бой, убитых и раненых. В единственной комнате полуказармы лежали, стонали тяжелораненные. Осенними листьями клен в чернелись на соломе куски тягучей, как мазут, крови. Дрожащие зубы умирающих тянули одну ноту:

— А... А... А... А...

— Зарежьте меня, товарищи, ой, нарежьте!

Халаты докторов и санитаров промокли от крови. Один из докторов несколько раз уже смотрел на давно остановившиеся настенные часы и не мог никак понять, сколько они показывают времени.

Мысль была лишь одна:

— Скорее бы подошел санитарный поезд.

Заметив комиссара, доктор бросил под стол кусок ноги и сказал:

— Когда придет санпоезд?

— Как только поправят мост...

Где-то за взорванным мостом нетерпеливо пыхтел бронепоезд, за ним длинный серый, словно пыльный поезд. Черными буквами — от вагона к вагону — было обозначено:

„Санпоезд номер восемь“.

И ниже уже чуть-чуть покрашенное:

„Ее Величества Государыни Императрицы“.

Около моста — черно-белые стружки от обгорелых шпал и быстро, ловко, привычно складывают клетки из новых шпал бойцы.

Целый день цепи, слегка отойдя, лежали перед проволокой. Белые поняли это, как маневр, полагая, что главные силы ударят с Амура, и перевели туда часть резервов.

Вечером задрожал мост, тихо-тихо, как на цыпочках переходил по нему бронепоезд, скрипят, пригибаясь шпалы. А утром, так и не получив ответа от генерала Молчанова.

по трем сигнальным выстрелам из дальнбойного орудия бронепоезда, зачочевшие цепи бросились в атаку.

Белый броневик уничтожал поднявшихся фронтальным огнем.

Главком приказал:

„Жертвуй собою ради спасения пехоты, красному бронепоезду идти вперед“.

Бронепоезд, сначала тихо, потом быстрее, быстрее двинулся по своей узкой, открытой дороге. Бронепоезд белых сейчас же перенес огонь на своего врага.

— Ввзз...

С контрольной площадки нашего бронепоезда взметнулись под откос скрюченные рельсы.

— Полный вперед!..

Машинист на секунду высунул голову из окошечка. Колеса завертелись, ускоряя бег вагонов. Бронепоезд окутало черным дымом — снаряд попал в заднюю пулеметную площадку. В тылу у белых вспыхнул мост.

С криками „ура“, проваливаясь в снежном болоте, сея на поляне убитых и раненых, пехота одолевала последние смертные сажени до проволоки.

— За красный Хаб...

Герой падает на проволоку, алюминиевая кружка с замерзшим хлебным мякишем звенит о колючки. Выпущенная из мертвых рук винтовка летит еще по инерции вперед за проволоку, втыкаясь штыком в снег.

— За красный Хабаровск!.. — кричат сзади идущие и перебегают через проволоку по спине погибшего храбреца.

Белый бронепоезд заметил пожар моста:

— Назад полный!..

Он разогнал свинцовым дождем партизан. Огонь освещал банки из-под керосина. Поезд промчался по горящим, но еще крепким шпалам и сквозь дым можно было разобрать отдельные буквы:

„В...О...Л...Ж...А...Н...И...Н“.

Пехота, преодолевая пулеметы, орудия, винтовки, проволоку, задыхаясь, крича что-то громко, храпло, уже неудержимо лезла к вершине сопки Лунка-Карани.

Тяжел был бой за Волочаевку. Много, много полегло здесь бойцов, героических, мужественных. Двадцать один боец не выдержали ужаса боя и сошли с ума...

Как огромный курган, зеленеет летом, желтеет осенью, белеет зимой сопка Лунка-Карани. У подножия ее, уже густо заросшего кустарником, похоронены павшие бойцы. На вершине сопки небольшой, мало заметный обелиск — скромная честь безымянным храбрецам. Да как склоненные простреленные боевые знамена, шелестят у могилы листья деревьев. А мимо несутся с грохотом и шумом освещенные ночами поезда...

На граните над прахом немецкого астронома Фраунгофера вырезана эпитафия:

„Он приблизил звезды“.

На памятнике волочаевцам можно было бы вычеканить:

„Они приблизили социализм“.

Им — скажем словами Владимира Маяковского — „общим памятником будет построенный в боях социализм“.

После боя под Волочаевкой судьба белых была решена.

Полковник Аргунов сидит в квартире железнодорожного мастера. Лампа „Летучая мышь“ светит у потолка. Аргунов смотрит на фотографию, изображающую каких-то солдат с георгиевскими крестами у бамбуковых столиков, украшенных бумажными цветами. Вспоминая бой под Волочаевкой, полковник говорит:

— Я бы дал каждому красному солдату, штурмующему Волочаевку, по георгиевскому кресту. Лихие герои!..

В сенях шум. Быстро входит адъютант:

— Вот, сволочи, привыкли...

— Что такое?

— Да сено наши кавалеристы расхватили, а хозяин денег требует. Думает, как вперед шли — за все иенами платили... Я ему показал иены... Довольно, поиграли в демократию!

И вытирает рукавицей мокрые пальцы.

— Ну, господа, — говорит вставая Аргунов, прочитав и разорвав привезенное ординарцем донесение. — Надо отправляться. Красные уже заняли Хабаровск...

„НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА“

„Белоповстанцы“, разобрав орудия и погрузив их на сани, искусно маневрировали, предупреждая обходы наших авангардов. Опять вырывались из кольца белые, это значило, что не сегодня-завтра с ними, недобитыми, придется снова воевать.

Под станцией Бикин белые на три дня задержали наши лобовые атаки. Им помогали в этом старые солдаты, под шинелями — пиджаки с коричневыми повязками на рукавах: военнопленные, возвращавшиеся в Россию из Германии через Владивосток, думали пробить себе так дорогу домой.

Около станции Иман отгрохотал последний в эту кампанию бой. В тылу у каппелевцев вспыхнуло восстание семейцев, желавших видеть правителем своего атамана. „Белоповстанцы“ не выдержали флангового удара, покатались и в полном вооружении перешли на наших глазах под станцией Уссури в „нейтральную зону“.

Перед командованием возник вопрос: можем мы вести свои войска в „нейтральную зону“, вызовет это столкновения с японцами?

Решили так:

— Японцы первые нарушили соглашение, пропуская через „нейтральную зону“ наступавшие и убегающие белые отряды. Значит и мы можем не признавать „нейтральной зоны“.

В полдень первого апреля передовые части Народно-революционной армии достигли линии города Спасска, на вокзале и в городе над казармами висели японские флаги — там стоял японский гарнизон. Белые совместно с японцами несли гарнизонную службу, вместе ходили в караулы, в секреты.

Все народоармейцы надели на рукава угольники — отличительные знаки ДВР. Приказ был таков:

— Огня не открывать...

А сквозь голые деревья, поверх уже зеленеющих кустарников в прозрачном весеннем воздухе так близко краснели коричневые громады, в которых укрылись белые.

Окружить бы их сейчас, разбить бомбами и уничтожить, а то ведь через год с небольшим опять будут валиться здесь на поле убитые бойцы, по свистку подниматься цепи, стонать раненые, выдергивая в агонии пучки осенней травы, точно желая как-нибудь, хоть за этот жалкий клочок сухой травы удержаться на земле и не падать в черную пропасть, куда всеильно влечет и влечет их ослабевшее от белогвардейских пуль сердце...

Наш уполномоченный с пятью бойцами при белом флаге выехал вперед до встречи с японским разъездом. Уполномоченный заявил офицеру — начальнику разъезда, что Народно-революционная армия стоит на пороге Спасска и войдет в город. Офицер крикнул что-то солдатам, Они соскочили с лошадей и, грубо сдернув шапки с бойцов и уполномоченного, завязали им глаза носовыми платками, пахнувшими табаком и водкой „саке“.

Держась за луки, наш мирный авангард качался в седлах, лошадей в поводу вели японцы. Шум приближался, гудел паровоз, лошади стукали подковами о рельсы, слышались японские и русские голоса. Скоро видимо Спасск. Наконец остановились, приказав сойти с лошадей. На земле под ногами почувствовали жидкую теплую грязь. Невидимая толпа захотала. Кто-то сказал по-русски:

— Не сладко? Как чушки, в грязь...

— Изголяются, — шепнул боец.

Около полчаса держали так в грязи с завязанными глазами — перед глазами была ночь, а утреннее солнце припекло спину. Где-то выстрелили, заиграли сразу же сигнальные японские рожки.

— Тревога! — крикнул кто-то по-русски.

Японцы быстро втокнули парламентаров в штаб, сняли повязки. Из передней показался японский офицер.

— Я драгоман, — сказал он, улыбаясь как фокусник после удачного фокуса, — генерал к сожалению болен и лег спать.

Очень, очень неприятно, что с вами так грубо поступили наши солдаты...

Будто он не видел в окно, как полчаса мокли в грязи наши бойцы. Драгомана сменил лично знакомый нашему уполномоченному майор, он был в туфлях и просторном разноцветном халате. Шумно приветствовал он, казалось от самого чистого сердца, нашего уполномоченного. Взяв его под руку, подвел к столу.

— Вот чай, закуски, сигары... Мы ж — старые друзья...

— Какие они артисты, — подумал уполномоченный. — Ведь и к товарищу Лазо приходили японские офицеры „учиться марксизму“, а потом сожгли его в топке.

Майор закурил сигару, синий дым легкими кольцами медленно поднимался над его короткостриженной черноволосой головой.

... А за окном был слышен глухой рев японских пушек. Они били и били по нашим без выстрела продвигавшимся частям. Японский батальон сделал попытку окружить наши части. Маленькие подвижные солдаты кричали:

— Банзай!

И смыкали желтое кольцо. Руки бойцов сжимали до боли в ладонях молчаливые винтовки, казалось, еще мгновение и щелкнут затворы.

— Товарищи! Не стрелять!

— Товарищ командир, — хрипло сказал боец, — хоть в штыки бы! Ведь как галок... Обидно...

Ловким маневром, потеряв 47 бойцов, не разрядив ни одной винтовки, наши батальоны вырвались из этой огненной крепости.

... — Пожалуйста печенье...

Уполномоченный потребовал, чтобы тотчас же перевели на японский язык для доклада генералу наши условия. Переводили больше часа, ответ был таков: японцы считают договор в силе и не позволят Народно-революционной армии занять Спасск.

А майор все-таки гостеприимно угощал уполномоченного, уговаривая его не спешить:

— Лучшие сигары... Вы так и не пили чай. Ай, ай, вы обижаете нас, гостеприимных японцев...

... Доктора перевязывали в летучках бойцов, в теле которых застряли японские пули, в раны от японских шрапнелей совалили коричневые от нода тампоны...

Д В Р I

Народно-революционная армия оставила „нейтральную зону“. Приходилось ждать эвакуации японских войск. Армия, в отпущенную ей историей передышку, старательно залечивала раны, нанесенные войной. Организуются учебно-кадровые части, где куются достойные преемники погибших волочаевцев, открываются военные школы, курсанты Даль Востока — молодая, невиданная еще здесь поросль — скоро примут участие в боях с белогвардейцами. Казармы ремонтируются, застекляются окна в конюшнях, чистота командармом входит в казармы. Никто ни на минуту не забывает, что пока белые сидят в Приморье — война с ними неминуема.

Чинится и наш Даль Восток — почти непрерывное боевое поле. Стучат молотки, топоры, перекидывая через реки новые мосты взамен сожженных, клепаются фермы.

Между тем братья Меркуловы — владивостокские правители — задаром распродавали Японии государственное имущество. Японцы возили к себе на острова все ценное, что только попадалось им на глаза.

Даже торгово-промышленная палата не выдержала и недвольная Меркуловыми, вызвав в середине 22 года из Харбина генерала Дитерихса, предложила передать власть „Народному собранию“. Но Дитерихс — новый кандидат в правители Приморья — перекинулся на сторону Меркуловых, разогнал „Нарсоб“ и созвал „Земский собор“, утвердивший Дитерихса правителем, Меркуловы же остались у генерала помощниками.

Официальным гимном был объявлен царский. Дитерихс, назначенный до прихода царя „блюстителем престола“, не-

медленно отправил в Копенгаген к „вдовствующей императрице Марии Федоровне“ верноподданническую телеграмму: „Собор постановил просить царский дом соблагонизволить возглавить Приамурский край“.

Войска Дитерихса были переименованы в „земскую рать“, чиновники — в „дьячков“, а контрразведчики — в „гнусов“.

В одной из первых деклараций правительство Дитерихса милостиво объявляло, что „только религиозные люди могут участвовать в строительстве Приамурского государства“.

Сам Дитерихс писал в манифесте:

„Я глубоко верю, что только чудо господне может спасти русскую землю и вернуть ей власть народа русского и его хозяина помазанника божьего“.

Но чудо чудом, а пока что японцы все-таки думали наконец эвакуироваться всерьез. Слишком уж дорого обходилась интервенция, слишком уже росло недовольство японских раб-бочих, к тому же Япония потерпела сильное дипломатическое поражение на Вашингтонской конференции — все это, особенно на фоне крепнущих день-от-дня РСФСР и ДВР, послужило главнейшими причинами, вызвавшими окончательную эвакуацию японовойск.

Дитерихс тотчас же послал в Токио к японскому императору делегацию с почтительной просьбой задержать японовойска в Приамурском крае. Но и эта затея провалилась и даже сама делегация не возвратилась более в трещавшую по всем швам вотчину Дитерихса.

Японцы предлагали Дитерихсу самостоятельно, силами „земской рати“ задержать большевиков. Ведь эвакуация будет производиться не спеша, сначала японцы освободят только окраины, потом — Город и Никольск, и лишь затем — Владивосток. Дитерихсу была оказана богатая помощь вооружением, ему были переданы оставленные укрепления, оборонительные линии, воздвигнутые японовойсками.

В составе „рати“ были недавно мобилизованные, неустойчивые молодые солдаты и наши старые знакомцы — матерые белогвардейские волки, прошедшие сквозь многие ружейные, пулеметные, пушечные огни — семеновцы и каппелевцы.

НРА по мере отхода японцев начала наступление и под городом Спасском столкнулась с частями „рати“.

Стояла сухая с опадавшими листьями осень. Народно-революционная армия снова подходила с боями к Спасску. Артиллерия громила эти кирпичные блиндажи, в которых засели белые. Наши цепи несколько раз бросались в атаку, идя по открытому плацу, где когда-то учили солдат перебежкам, а сейчас лилась горячая кровь бойцов. Белые защищались крепко, их шрапнели били на низком разрыве, окутывая пылью цепи, их гранаты, поднимая черный столб земли и щепок, уничтожали наш наблюдательный пункт.

Лишь в сумерках Спасск был взят нами.

Похоронив бойцов, армия продолжала свой путь, повторяя почти в точности проделанный партизанами маршрут 20 года: Иман — Спасск — Никольск — Уссурийск. Все те же огромные села с белыми хатами переселившихся сюда украинцев. Широкие дороги. В стороне, подобно станционным водокачкам, неподвижно маячат сельские мельницы.

Под Никольск-Уссурийском был последний бой.

— По генералу Молчанову команда-а-а... пли!.. — на город наступали дальневосточные курсанты, выбивая остатки белых.

Вот и Никольск-Уссурийск, все так же течет Суйфун, где погибло в 20 году столько бойцов от японских пуль. В армии уже мало оставалось бойцов, ушедших отовсюду в 20 году — кого увезли поезда на родину, кто лег в сопках, защищая этот край.

Жигели Дальнего Востока, изведав все нестерпимые ужасы японской интервенции, монархических японофильских правительств Меркуловых и Дитерихса, до необычайности радостно встречали наших бойцов.

Авангарды не задерживаясь двигались дальше — к советским берегам Тихого океана, к красному Владивостоку. Японцы взрывали во Владивостоке форты, обращая их в кучи бетона, смешанного с землей, топили в бухте замки от орудий.

Народно-революционная армия приближалась к воротам Владивостока, японцы снова задержали наши части на подступах к городу.

Вот что писал 19 октября 22 года главком Народно-революционной армии Уборевич:

„Войска НРА, совершая победоносный поход в 9 верстах от Владивостока, встретились с японскими войсками, командо-

вание которых грозит в случае нашего продвижения открыть огонь. Японцы своими штыками очевидно хотят спасти остатки белых банд Дитерихса и вызвать новую войну. Во Владивостоке сейчас царит безвластие и анархия. Преступные „правители“, убегая из России, хотят в конце разорить ее народное хозяйство. Рабочие во Владивостоке объявили забастовку. Если такое положение будет продолжаться хотя несколько дней, то мирная жизнь в конце будет нарушена и в этом случае возможны непоправимые бедствия для всех жителей.

Товарищи командиры, комиссары и бойцы Народно-революционной армии! Сегодня в ночь я вам приказал отойти на несколько верст и с японцами в бой не вступать. Народно-революционная армия не хочет войны с японским народом. Она борется во имя мирной жизни. В течение сегодняшней ночи мною будут приняты меры, чтобы еще раз разъяснить японо-китайскому командованию положение вещей и добиться мирного вступления Народно-революционной армии во Владивосток. Но пусть знает весь мир, что Народно-революционная армия, армия великого русского народа, не была побеждена никем, даже и японцами и разоружена быть не может. Мы сумеем своей грудью проложить дорогу к защите наших интересов. Товарищи, держите крепче винтовку в руках и ждите дальнейших указаний“.

Последняя ночь японцев во Владивостоке. Темнота. Не горит электричество. Стоят трамваи. Окна домов мертвы. Лишь кое-где мерцают тускло свечи. На улицах прорезает мрак свет электрических фонариков. „Земская рать“ дограбливает город. По пустынным рельсам везут на автомобилях, тащат мешки. Лучи прожекторов с японских кораблей перебрасывают с моря на берег лучистые трапы.

Утром японские пароходы, забрав с собой массу японских резидентов — торговцев, спекулянтов, парикмахеров, часовщиков, проституток, прачек, наконец уходили навсегда от берегов Золотого рога. С ними убегали под охраной японских пушек на захваченных кораблях и меркуловцы-семеновцы-каппелесвцы.

У Дитерихса нашлись еще преемвики, это были сибирские областники. Они составили наспех правительство, но объявление о правительстве напечатать было негде — японская газета закрыта, а русские рабочие отказывались набирать

этот „манифест“. Тогда „министры“ написали объявление на плакате и выставили его в окне гостиницы.

Этим и закончились кратковременные дела и дни последнего белого „сибирского правительства“.

В город возвратились овеванные ветрами, закаленные в зимних боях, обстрелянные японо-белыми пулями бойцы Народно-революционной армии. В штабе главкома сидели представители от рабочих — забастовка окончена, сейчас пойдут трамваи, сейчас вспыхнет свет.

Это было 25 октября 22 года. А через несколько дней синий лоскуток был сорот с красных флагов.

ДВР — Дальневосточная республика — с честью выполнила свою задачу.

— ДВР! — Даешь Владивосток революции!.. — Так порой бойцы расшифровывали инициалы Дальневосточной республики.

Учредительное собрание ликвидировало ДВР. Советская власть, за которую непреклонно, долго, упорно дрались мятежные бунтари дальневосточники, с телеграфной быстротой теперь распространилась и от берегов Селенги — западной границы ДВР до побережья Тихого океана.

ПРОЛОГ

Скоро исполнится десять лет с тех пор, как советский Дальневосток очищен от японо-белых войск. На сопках Даль-востока загораются теперь новые огни — здесь возникают стены заводов, дымат фабричные трубы.

Край необычайно богат лесом, рыбой, углем, нефтью, золо-том, пушным зверем.

Когда-то песец и соболь не менее Ермаковских пищалей содействовали завоеванию и открытию Сибири. Живое золото — песец и соболь — были тем сильным магнитом, который неудержимо притягивал к себе небольшие, но храбрые отряды „вольных людей“, недороживших в погоне за драгоценным мехом ни своей, ни чужой жизнью. В 1650 году атаман Ерофей Хаба-ров, предводительствуя сотней таких охотников на соболей и песцов, открыл и занял реку Амур, появившись среди ее нелюдимых берегов со своей отважной флотилей. Так, благода-ря песцу и соболу — этой „мягкой рухляди“, как именова-лась она в старых царских приказах, была распахнута послед-няя дверь в загадочную дотоле Восточную Сибирь. Иногда даже сами звери помогали ленивым пришлым гостям получить новые богатства. Благодаря суркам в 1699 году в Нерчинском округе были найдены золотые и серебряные руды. На это открытие навели норы сурков. При выкапывании ямок сурки выбрасывали вместе с землей блестящие крупинки драгоцен-ных руд.

Морякам, сошедшим в 1741 году с кораблей капитана Беринга на неведомые картам берега Командорских островов, буквально приходилось отбиваться от голубых песцов.

Но хищнические способы охоты и систематическое истребление зверя привели к тому, что соболь, песец стали на Даль Востоке редкими зверями. Советской власти приходится теперь добычу пушнины регулировать специальными законами, запрещающими хищничество. Создаются звероводческие фермы, развивается пушно-звероводческое хозяйство, на Командорских и Шантарских островах устраиваются питомники голубых песцов. Кроме песца и соболя в необозримых лесах и тундрах Даль Востока можно встретить медведей, амурскую серну, изюбров, кабанов, над головой следопыта вспорхнет неожиданно неприметный в листве рябчик, японский ибис, бросив гнездо в земле, поднимется длиннохвостный фазан.

На Даль Востоке мало течет рек, в которых бы не было обнаружено золота или хотя бы следов его присутствия. Будь то маленькая, сжатая сопками, тенистая речушка, торопливо до осени перекачивающая свои неглубокие воды по гальке и песку под вечерним покровом марева из мошек и комаров, будь то большая полноводная Зeya — под водой на дне их можно отыскать желтые золотые крупинки. Золотые запасы Даль Востока исчисляются в шесть тысяч тонн.

На Камчатке, на восточном берегу полуострова, в 60 километрах от океана охотник наткнулся недавно на какой-то подземный родник, выбивавшийся из речного галичника. Длинношерстая лайка, томимая жаждой, подбежала к ключу, понюхала желтую маслянистую воду и замотала недовольно остроносой мордой. Вода пахла керосином. Охотник зачерпнул пригоршню, растер между пальцев воду — вода медленно обтекала пальцы, оставляя блестящие маслянистые пятна. Так была обнаружена камчатская нефть, необычайно, как это выяснили впоследствии исследователи, высокого качества. Трудно найти среди других советских нефтей нефть, подобную камчатской. Сейчас уже получены сведения о выходе нефти на западном берегу Камчатки в районе реки Леоновской.

Сахалин, „Соколиный остров“ — как звали его арестанты — каторга царской России, также становится в последние годы крупным нефтедобывающим районом Советского союза.

Реки и морские побережья Даль Востока обильны рыбой и морскими животными. Здесь плавают сельдь, треска, лежат на дне камбалы, гнездятся скумбрии, наваги. Крабы, дель-

фины, трепанги находят себе жилье в привольных водах Даль Востока, прорезанных зарослями подводных лесов, тянущихся на многие десятки тысяч километров. Леса эти — ценная база для химических заводов.

Пароход „Алеут“ под советским флагом держит путь к берегам Даль Востока. Он идет вместе с флотилией пароходо-китобойцев через Панамский канал в Берингово и Охотское море.

Выстрел из пушки, и наконечник гарпуна, с резким шелковистым свистом, разматывая веревку, отделяется от древка и врезается в огромную тушу кита. Убитых китов пароходо-китобойцы доставляют к своей матке „Алеуту“, через особое кормовое приспособление „слип“, лебедками втягивая на палубу. Дальвосточный кит даст жир для мыловаренных фабрик, кости, китовый ус, высокоценную амбру.

Два раза в год неисчислимые отряды кеты и горбуши атакуют воды Амура, они теснятся среди берегов, поднимаясь все выше и выше и еще живы легенды о том, что во время хода кеты можно было переходить Амур по спинам рыб.

„Десятки и сотни тысяч рыб, — пишет о кете наш ученый К. Солдатов, — стая за стаяй, побуждаемые каким-то могучим импульсом устремляются в Амур. Встретив препятствие в виде стенки заезда, рыба останавливается у нее в громадном количестве и, делая тщетные попытки преодолеть эту преграду, выпрыгивает поминутно из воды, производя такой шум и всплески, что их можно слышать издали. Все пространство у заезда заполняется сплошь рыбой, а все еще приваливают новые и новые стаи ее. Всюду видны свинные плавники кеты, всюду вода пенится, как в котле, от массы сталкивающейся между собой и выпрыгивающей из воды рыбы“.

Нам приходится теперь заново открывать Дальвосток. Шефство над этим богатейшим до сказочности толстосумо-краем держали прежде Европа и Америка. Цари выкачивали с Даль Востока пушнину и золото, посылая лишь взамен партии каторжан. Европа и Америка снабжали Дальвосток за хорошие деньги пароходами музейного типа, спичками, цинковыми крышами, малосильными дизелями и даже пресная вода присылалась из Японии. Соляные караваны, подобно Магеллановым неторопливым парусникам, словно совершая

кругосветное плавание, огибали Индию и в течение двух месяцев, преодолевая бури, горячий зной тропиков, плелись к рыбакам на Охотское море. А морозы выжимали соль на Амурском лимане, ее кристаллы матово блестели здесь, под боком, в дальневосточной бухте „Счастье“.

Нефть шла из Баку, уголь за тысячи километров из Черемхова, а во Владивостоке мешечники ковыряли уголь прямо на поверхности земли кирками и лопатами. От Центрально-черноземной области Дальвосток требовал картошку, морковь для Дальвосточка везли с Киевщины, а лук с Кавказа. Конечно теперь этому положен конец. Дальвосток имеет свое нефтяное Баку, у Дальвосточка — свои Сучанские Донбассы. Картошка больше не совершает таких путешествий — уже в 32 году на Дальвосточке засеяно 1.300.000 га зерновых и технических культур.

Геологически Дальвосток обследован совершенно незначительно — на его геологических картах белых пятен не меньше, чем на географических картах Арктики и Антарктики. Но уже и сейчас зарегистрировано более 2000 месторождений полезных ископаемых. Здесь и железо, и цинк, и серебро, и свинец, редчайшие молибден и вольфрам, драгоценная платина, марганец, олово, ртуть, сера, сода.

В 31 году была разрушена еще одна легенда о бедности Дальвосточка железными рудами — геологическими авангардными разведками в районе Малого Хингана по предварительным наброскам обнаружено до 560.000.000 тонн руд.

В текущую пятилетку будет построен огромный Нерчинский свинцово-цинковый комбинат, свыше 25 лесозаводов, рыбо-консервных и рыбо-разводных. Пятилетка предусматривает колоссальное расширение посевов риса, сейчас разбросанных главным образом около озера Ханка. Рисовые плантации вместе с рисоочистительными заводами, бумажными, веревочными, мешечными фабриками составят здесь часть большого Южно-Уссурийского зерно-рисо-соевого-маслобойно-сахарного комбината.

На конференции по размещению производительных сил обсуждались перспективы второй пятилетки Дальвосточка, этого форпоста социализма у берегов Тихого океана. В районе Хингана запроектирован уже гигантский металлур-

гический завод, он обслужит судостроение, моторостроение и рыбную промышленность.

И там, где преодолевая вьюгу, холод, прекрасно вооруженные отряды интервентов, бились и побеждали забайкальские, амурские, уссурийские партизаны, где еще не так давно звели кандалы, — возникнут стены комбинатов. И Дальвосток вместе с Уралом-Кузбассом, с Ангарстроем переплавят в домах социализма Сибирь. Сибирь каторжная, Сибирь — „проклятый край“ превратится в страну металлургии, в страну машиностроения.

Но сооружая заводы и фабрики, отмыкая заново богатства страны, нам следует крепко помнить, что Дальвосток находится под угрозой войны.

Бывший японский премьер Танака представил японскому императору меморандум. Он пишет в нем:

„Наша новая континентальная политика вызовет в ближайшем будущем неминуемый конфликт с Советской Россией. В программу нашего национального роста входит повидимому скрестить наши мечи с Россией. В целях овладения богатствами Северной Манчжурии, Восточно-Китайская железная дорога станет нашей, так же как стала нашей Южно-Манчжурская.

Если мы заглянем в будущее Японии, то мы должны признать неизбежность войны с Россией на полях Северной Манчжурии“.

Другой японский генерал Кийо-Кацу идет в ногу с Танакой и в своей книге откровенно пишет, что японцы „смотрят на Манчжурию, Монголию и Сибирь, как на святое место наших предков и как на место активности наших потомков“.

Журналист Каманцы настуже растворяет для Японии на страницах газеты „Нихон“ двери в Сибирь:

„Получив Сибирь, Япония навеки веков забудет о безработице и экономическом кризисе“.

Харбинская газета „Гоминь Гуньбао“, издающаяся на японские деньги, видит японский штаб у Читы, японский флаг над Магнитостроем, японские заставы в сердце Урала.

„Япония считает, — сообщает газета, — что для укрепления своих позиций в Манчжурии необходимо раньше всего изгнать Красную армию из Приморья и из районов Амура. Кроме того необходимо захватить Сибирь, чтобы гарантиро-

вать спокойствие внутренних путей сообщения и систему управления в Манчжурии. Японская армия должна установить три линии обороны:

первая линия — у Читы,
вторая — у Новосибирска,
третья — на Урале“.

Даже Америка милостиво отпускает грехи Японии, если она выступит против СССР. Известный американский экономист Бебсон говорит:

„САСШ могут простить Японии ее проступки, если она таким образом ударит по коммунизму. Наступление Японии на СССР может стать поворотным пунктом к лучшему в экономическом положении“.

Франция и Япония усиленно формируют белые банды для Даль Востока. В течение последних месяцев происходит отправка белогвардейских офицеров на Дальвосток в распоряжение бывшего командующего „Земской ратью“ генерала Дитерихса. Дитерихс опубликовал приказ к русским эмигрантам, находящимся в Европе, оказать ему помощь путем присылки денег, офицеров и специалистов.

Мы должны быть всегда на-чеку.

Тов. Киров, выступая на пленуме Ленинградского совета, сказал:

„Мировой империализм уже вступил на путь войны.

На Дальнем Востоке уже вспыхнула империалистическая война против Китая.

Вступила первой на этот старый путь империалистических разбойников Япония, та страна, которая оказалась наиболее „обделенной“ колониальными владениями после мировой империалистической войны 1914 — 17 гг.

Японские империалисты добились того, что они стали фактическими хозяевами такой страны, как Манчжурия.

Наиболее „горячая часть“ японских империалистов одной рукой старается укрепить свое положение в Манчжурии, а другой стремится спровоцировать Советский союз на войну с Японией.

Товарищи, то, что происходит сейчас на Дальнем Востоке, это пролог империалистической войны против Советского союза“.

Этот пролог напоминает нам о важнейшей задаче — задаче укрепления нашей боеспособности, о защите Дальвосточного форпоста.

Ведь он действительно Дальний Восток — больше четверти суток плетется солнце, чтобы доползти из Приморья, с самой восточной окраины СССР, в Москву, ее сердце. В то время, как пушка на берегу Золотого рога говорит трудящимся о времени обеденного перерыва, гудки московских фабрик пробуждают рабочих от сна.

Советский Дальвосток бьется одним сердцем с Москвой, и в грядущих боях Дальвосток, этот передовой авангард великой интернациональной армии Союза советских социалистических республик, ее крепкий щит, сумеет охранить свои завоеванные кровью бойцов пограничные рубежи.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
„Японскому командованию ни о чем неизвестно“	3
Трагедия в Николаевске на Амуре	9
Б а п р е л я	11
Амурцы	19
„Читинская пробка“	24
В тылу у Селых	36
Семафор поднят	43
Красное с синим	51
Резиновые сапоги	56
Перелом	62
Дальневосточный Перелом	69
„Нейтральная зона“	77
ДВР.	80
Пролог	85

Отв. редактор Ф. Кауфельдт.

Технич. редактор А. Дзюбенко.

ЛОИЗ, № 158. 1³/₈ бум. лист. Форм. бум. 72×110. Кол. знак. в бум. листе 100.000.

Сдано в набор 25/VII 1932 г.

Подписано к печати 1/IX 1932 г.

Ленинград № 45786.

Заказ № 7776.

Тираж 15.000.

ЦЕНА 80 КОП.